

Александр А. Локшин

**«МУЗЫКА,
ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ
ДЛЯ СТАЛИНА»**



МОСКВА – 2020

УДК 78
ББК 85.31
ЛЗ1

Локшин, Александр Александрович.

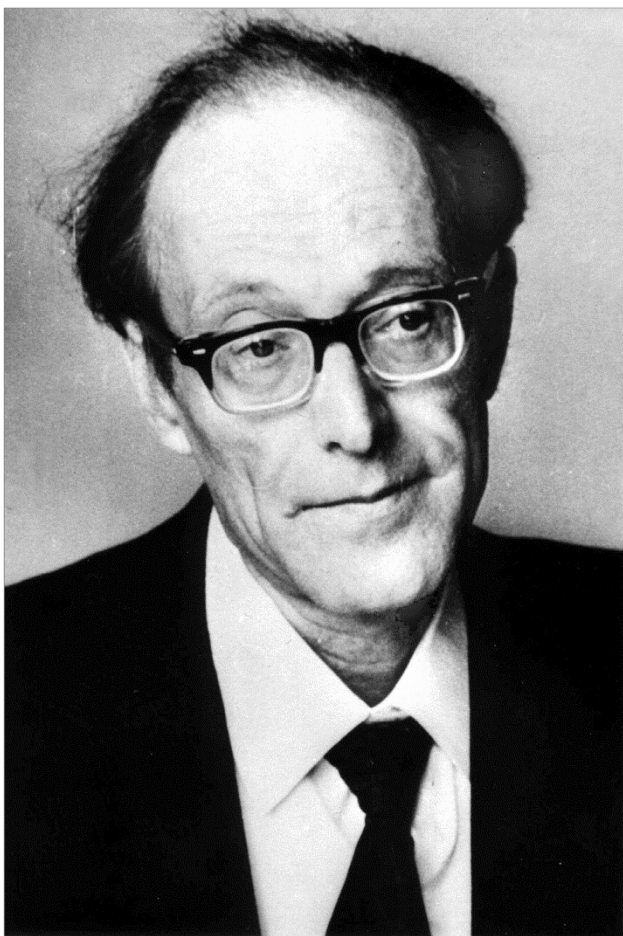
Л73 «Музыка, оскорбительная для Сталина» / А.А. Локшин. –
Москва : МАКС Пресс, 2020. – 196 с.
ISBN 978-5-317-06465-5

В книге подводится итог многолетнего расследования клеветы
в адрес композитора Александра Лазаревича Локшина (1920–1987).

УДК 78
ББК 85.31

ISBN 978-5-317-06465-5

© Локшин А.А., 2020
© Оформление. ООО «МАКС Пресс», 2020



А.Л. ЛОКШИН (1920–1987)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	8
Предисловие автора.....	11
ГЕНИЙ ЗЛА	13
Предисловие к четвертому изданию.....	13
Предисловие к первому изданию	13
0. Немного мистики	15
I. Похороны	15
II. История с Якобсоном	16
III. Моя вина	21
IV. Четыре цитаты из Карпинского	22
V. Сплетня, гласность и стукачи	25
VI. Ультиматум Геннадия Рождественского.....	26
VII. Поход в Мемориал	27
VIII. Первая зацепка	29
IX. Два следователя. Отец невиновен	30
X. Помощь Елены Петровны	31
XI. Встреча с Есениным-Вольпиным.....	32
XII. Бесовская музыка	35
XIII. Списки стандартных фраз. Я на ложном пути	35
XIV. Ответ Вольпину	37
XV. Парадоксы Ленинградской тюремно-психиатрической больницы.....	38
XVI. Вольпин: портрет во время террора.....	40
XVII. О Вере Ивановне	40
XVIII. Сугроб начал таять.....	43
XIX. Неожиданный звонок	43
XX. Передача	44
XXI. Разговоры с Бунтманом.....	53
XXII. Последствия передачи	55
XXIII. Разговор с С.С. Виленским	55
XXIV. История Маргариты.....	56

Приложение 1. Т.Б. Алисова-Локшина: Арест и освобождение Алика Вольпина	57
Приложение 2. Т.Б. Алисова-Локшина: Юдина и Локшин	60
Приложение 3. Письмо А.Б. Ботниковой о Вольпине	65
Приложение 4. Письмо Б.И. Тищенко о Реквиеме и Шостаковиче	68
Приложение 5. Искусствоведение в штатском	70
Приложение 6. Свидетельство, извлеченное из небытия (Давид Самойлов о Локшине)	72
БЫТЬ МОЖЕТ ВЫЖИВУ	76
Приложение 1. Одиннадцать писем моего отца И.Л. Кушнеровой (Рабинович)	85
Приложение 2. Письмо моего отца Н.Я. Мясковскому	91
Приложение 3. Отрывок из статьи Апостолова	94
Приложение 4. Музыка, оскорбительная для Сталина	97
«ТРАГЕДИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА» КАК ПОРТРЕТ ЭПОХИ	98
Вера Ивановна заблуждается	103
Ответ Вере Ивановне Прохоровой	104
Приложение 1. Три письма И.Л. Кушнеровой	109
Приложение 2. Письмо С.С. Виленского ректору Консерватории	115
Послесловие	117
ПОСТСКРИПТУМ. Два интервью, не вошедшие в фильм	118
1. Говорит Инна Львовна Кушнерова	118
2. Говорит Виктор Сергеевич Попов	139
ГОРЕЧЬ ЛЮСТРАЦИИ	141
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ	144
1. Кто лучше разбирается в стукачах?	144
2. Петр Григоренко, Майя Улановская и другие	145
3. Письмо Майи Улановской	150
4. О письме Майи Улановской, или Единожды солгавши	151
5. Постскриптум: Логическая задача	152
6. Неожиданная помощь от М. Улановской	153

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА	154
1. Первое письмо Юрию Самодурову	154
2. Второе письмо Юрию Самодурову	155
3. Третье письмо Юрию Самодурову	156
4. Мое письмо Елене Боннэр и ее ответ	156
ДИЛЯРА ТАСБУЛАТОВА:	
9 ВОПРОСОВ СЫНУ КОМПОЗИТОРА ЛОКШИНА.....	160
РИХТЕР И СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА.	
НЕВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ	166
СКРЫТАЯ ПРУЖИНА	
(НЕЙГАУЗ ПРОТИВ ВЕДЕРНИКОВА)	168
Я ОБЯЗАН БЫЛ ЭТО СКАЗАТЬ.....	177
Добавление 1. Письмо Т.Б. Алисовой-Локшиной	
Рудольфу Баршаю	189
Добавление 2. Документ из Интернета	192
Эпилог.....	193

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга о композиторе Локшине должна была появиться давно, два или даже три десятилетия назад. Когда к нам пришла, как тогда казалось, свобода, и стали возвращаться великие имена, несправедливо отнятые в годы репрессий и цензуры. Тогда бы и должны были вспомнить современники, что недавно в стране творил композитор, при жизни многими названный гениальным, о музыке которого с восторгом отзывались его учитель Мясковский, а также Шостакович, Тищенко, Гнесин, Юдина, Гилельс, Баршай и другие великие музыканты. Композитор, создававший сочинения в самых сложных и крупных жанрах, предпочитавший симфонические произведения с голосом и прозванный на Западе «русским Малером». Своей глубокой и пронзительной музыкой он поднимал важнейшие вопросы бытия, и, конечно, произведения его не соответствовали канонам соцреализма. Он был гоним властью за «несоветскость», а также честность и прямоту, нежелание угождать и приспособливаться. Поэтому его музыку почти не исполняли, самого его – человека уникальной одаренности и огромной эрудиции – отстраняли от занятий со студентами, и композитор был вынужден жить предельно скромно. История музыки, к сожалению, знает немало случаев, когда великие творцы не получали признания при жизни.

Но подобного тому, что произошло с именем и музыкой Локшина, не знала даже наша отечественная, богатая невероятными событиями история. Вместо того чтобы вернуть музыку гонимого тоталитарной властью композитора слушателям, а имени его – славу, властители дум в музыкальной сфере обрушили на Локшина вал ненависти. Еще в давние времена, когда над стра-

ной висел черный страх репрессий, честнейшего композитора оклеветали, приписав ему сотрудничество с теми «органами», которые преследовали его самого. Клеветники, как это бывает, имели свои неблагоприятные цели: кто-то прикрывал настоящего осведомителя, а кто-то просто мстил композитору за талант и честность. Шитая белыми нитками клевета, как это, опять-таки, бывает, прижилась в среде эмоциональных и легковверных музыкантов. И когда наступили новые, свободные времена, на имя умершего и не могущего уже себя защитить Локшина обрушилось все то, что десятилетиями сдерживалось страхом: ненависть к доносчикам и стремление выводить на чистую воду стукачей. Вот только направлено это оказалось не туда, где это действительно некогда гнезилось, и откуда могут вновь выползти страшные ростки в будущем, а туда, где можно было совершенно безопасно для себя продемонстрировать «верность свободе».

Трудно сказать, как сложилась бы судьба имени и музыки композитора Александра Локшина, если бы не его сын Александр Локшин-младший, посвятивший жизнь восстановлению правды и защите чести своего отца. Шаг за шагом, встречаясь с различными препятствиями, разматывал он клубок хитросплетений из клеветы, заблуждений, наивности и снова – злонамеренной лжи. Постепенно, с появлением его первой книги и статей, обнажалась правда, имеющая огромное значение не только потому, что правду нужно извлекать всегда. Эта правда возвращает нашей стране и миру великого композитора.

Новая книга Александра Локшина-младшего подводит итог многолетней работы и его самого, и тех неравнодушных деятелей культуры, которые помогали ему восстановить справедливость. Книга многомерна; она не только разворачивает перед нами саму историю возникновения, временного торжества и разоблачения клеветы, но и дает честный и страшный «срез» той эпохи, когда любой человек с ужасом ожидал ночного стука в дверь. Она построена на фактах и документах и скреплена сильной логикой математика: судьба распорядилась так, что сын оклеветанного композитора выбрал эту специальность, вооружившую его уме-

нием безупречно вести спор. Вместе с тем, она отличается психологической наблюдательностью и тонкостью – качествами, обычно ценимыми творческой интеллигенцией и почему-то напрочь забытыми ею в неистовой сплоченности против невинного. Наконец, книга просто увлекательно написана и читается, как детектив.

И при всем этом в книге «Музыка, оскорбительная для Сталина» каким-то образом «живет» сам композитор Локшин – искренний, незащитный так, как бывают незащитны гении искусства, и этим – невероятно сильный. Непобедимый.

Елена Федорович,
Екатеринбург
15.08.2020

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В этой книжке я собрал наиболее важные материалы, относящиеся к истории моего отца, композитора Александра Лазаревича Локшина (1920–1987). Трое бывших узников сталинских тюрем и лагерей обвинили моего отца в своем аресте. Это – математик и поэт Александр Есенин-Вольпин, преподавательница английского языка Вера Прохорова (племянница жены Генриха Нейгауза) и пианистка Вера Максимова-Лимчер.

Слух этот широко распространился и в конце концов обернулся для моего отца остракизмом и своеобразным либеральным запретом на исполнение сочинений.

Я потратил примерно 30 лет жизни на то, чтобы разобраться в этой истории и пришел следующему выводу: Вольпин и Прохорова были арестованы *не потому*, что на них кто-то донес, а *для того*, чтобы скомпрометировать моего отца. Что касается Максимовой-Лимчер, то я убежден, что ее заставили оклеветать моего отца (впоследствии она покончила с собой).

Помимо названных выше узников, имелись еще и наиболее усердные распространители слухов о моем отце. Они тоже названы в этой книжке.

Наконец, как я полагаю, имелся и заказчик, агент, которому нужно было перенаправить подозрения на моего отца, чтобы спасти такой ценой собственную репутацию.

Что и было (по моему мнению) осуществлено с феерическим блеском.

В своем расследовании я старался опираться на объективные источники, а все, что является моим собственным мнением или мнением моих родителей – особо оговаривать.

Я приношу свою искреннюю благодарность Елене Федорович, Игорю Гельбаху и Анжелике Огаревой за неизменную поддержку.

Я признателен также Евгению Берковичу, напечатавшему в своем журнале «7 искусств» мою документальную повесть об отце «Быть может выживу», составившую (в переработанном виде) часть этой книжки. Ему же я обязан своим контактом с Еленой Боннэр, которая заступилась за моего отца.

Александр А. Локшин,
Москва, 2020

«ГЕНИЙ ЗЛА»

Частное расследование

Предисловие к четвертому изданию

В настоящем издании «Гения зла» внесены некоторые исправления в основной текст повести и добавлен новый материал в приложения. Как я сейчас понимаю, эта повесть была только началом моего расследования; завершают его статьи «*Быть может выживу*» и «*Трагедия предательства*» как *портрет эпохи*, составляющие с «Гением зла», по сути, одно целое.

Я хотел бы выразить свою глубокую признательность Т.И. Апраксиной, А.Б. Ботниковой, Д.А. Гаранину, Е.Е. и И.Л. Кушнеровым и Б.И. Тищенко за неизменную поддержку в трудное для меня время.

Я приношу особую благодарность Р.Б. Баршаю, С.С. Виленскому и И.С. Пастернаку, чья громадная помощь сделала, наконец, реальной реабилитацию моего отца.

Наконец, я благодарен Алле Боссарт и Михаилу Подгородникову за их смелые статьи в защиту моего отца.

Москва, 2004

Автор

Примечание 2020 года. По сравнению с изданием 2004 года текст повести претерпел существенные изменения; в частности, появились новые Приложения.

Предисловие к первому изданию

В этой документальной повести я излагаю свой собственный взгляд на некоторые малоизвестные обстоятельства жизни моего отца, композитора Александра Лазаревича Локшина. В сущности, речь пойдет о расследовании операции по дискредитации, проведенной против него органами НКВД в 1949-ом году.

Мой отец родился в 1920-ом году в Бийске, а умер в 1987-ом в Москве. Вот некоторые документально проверяемые факты из его биографии:

- дважды изгонялся из Московской консерватории по идеологическим мотивам (в 1941 и 1948 гг.);
- после 1948-го года не мог устроиться на государственную службу;
- ни разу не смог выехать за границу на исполнение собственных сочинений;
- не занимал никаких постов в Союзе композиторов;
- его сочинения не раз снимались с исполнения по указанию партийных органов.

За четыре года до смерти моему отцу хлопотами его друга М.А. Мееровича было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Но без права на персональную пенсию.

С остальными захватывающими воображение фактами читатель может познакомиться в тексте.

Александр А. Локишин,
сын композитора
Москва, 2001

0. НЕМНОГО МИСТИКИ

Если бы не история отца, я – как человек рациональный – никогда не стал бы верить в Предопределение, считал бы такие взгляды полной чушью. Да, собственно, я и сейчас не верю во всякие такие штуки, но уже не настолько категорично, как раньше...

Короче, в начале девяностых, летом, ехал я на работу. Стоял, держась за поручень, в самом хвосте салона. Была прекрасная погода, светило солнце. Как обычно, я должен был сделать пересадку через пару остановок, но какая-то сила буквально выпихнула меня из троллейбуса на две остановки раньше, чем мне было нужно.

Выходя, я успел заметить, что на мое место встал человек в черном костюме (одетый явно не по сезону) и тоже взялся за поручень.

Минут через пятнадцать я уже ехал на другом троллейбусе и через две остановки, на перекрестке, увидел из окна то, что осталось от моего предыдущего троллейбуса. Вся задняя часть салона была срезана, как ножом. Рядом, метрах в десяти, стоял тяжелый грузовик, у которого, видимо, отказали тормоза. А на асфальте, уткнувшись лицом вниз, лежал человек в черном костюме. Рядом толпились люди, но никто не собирался оказывать лежащему помощь. Очевидно, он был мертв.

Эта картина произвела на меня сильнейшее впечатление – ведь на месте этого человека должен был быть я. Потом, со временем, впечатление потускнело, забылось... И снова вернулось, когда я осознал, что никто, кроме меня, не сможет распутать чудовищный клубок лжи вокруг моего отца.

I. ПОХОРОНЫ

Когда в 1987-ом году в возрасте 67 лет умер мой отец, мне запомнилось, что его профиль в гробу поражал своей странной, фантастической красотой. Те, кто видел посмертную маску Малера, поймут, о красоте какого рода я говорю.

На похоронах было немного народу: ближайшие родственники, друзья да пара истово крестившихся стукачей. От последних мы без труда улизнули: громко объявили, что моя мать себя плохо чувствует и никаких поминок не будет. А тихо – каждому из тех, кого хотели видеть, – что все состоится. И вот наши гости, приехавшие разными путями, собрались у нас за столом. И тогда, еще совершенно трезвый, старинный друг моего отца композитор Андрей Михайлович Севастьянов сказал мне при всех: «Шурик! Твой отец был великий человек. У тебя будет очень трудная жизнь». Конечно, я был ему благодарен за такие слова. Но я, естественно, представлял себе, что на поминках всегда говорят что-нибудь такое. Мне и в голову не приходило, что его слова надо понимать буквально.

До 36 лет, т. е. до дня смерти отца, я почти все время прожил с ним в одной квартире. И я до сих пор почти не в силах взглянуть на него со стороны. Возможно, в силу природной недоразвитости я не совсем понимаю, где кончаются его взгляды и где начинаются мои собственные.

И вот теперь я принужден обстоятельствами написать о нем. Я должен объективно, насколько это в моих силах, разобраться в истории его жизни и в том, каким он на самом деле был.

И я решил поступить так: написать о некоторых событиях, произошедших со мной, но прямо или косвенно связанных с моим отцом, в надежде, что его фигура нарисуеться сама «в отраженном свете».

II. ИСТОРИЯ С ЯКОБСОНОМ

Когда я учился в восьмом классе математической школы № 2, моим учителем литературы был Анатолий Якобсон – диссидент, друг Лидии Чуковской и Юлия Даниэля. Учителем литературы он был очень хорошим, и мы с ним подружились. Возможно, ему понравились некоторые мои ответы на его уроках.

В том, что я удачно отвечал на его вопросы, не было ничего удивительного. В то время у меня была большая фора перед мои-

ми товарищами – с тем, что есть литература и что есть поэзия, меня знакомил мой собственный отец. К тому времени его литературные взгляды и пристрастия в основном сформировались, хотя некоторое брожение в этих взглядах я наблюдал и позднее.

Толстого он предпочитал Достоевскому, а Заболоцкого – Пастернаку. О Пастернаке я хотел бы здесь поговорить подробнее, ибо отношение отца к его творчеству имело до некоторой степени роковые последствия. Отец к тому времени был склонен, пожалуй, считать Пастернака гениальным переводчиком, в чьей интерпретации Шекспир, Верлен, Гете превосходят то, что было заложено в оригинале. К собственным стихам Пастернака он относился более критически. Возможно, ему не хватало в этих стихах некоторой железной логической пружины, необходимой ему в силу собственного склада. Яростное увлечение Пастернаком он уже пережил в молодые годы.

Что касается Jakobsona, то этот замечательный человек поступка и мысли¹ был просто переполнен Пастернаком. На своих знаменитых на всю Москву школьных лекциях о русской литературе он говорил, что любит раннего Пастернака больше, чем любые другие стихи. А позднего Пастернака – еще больше, «через не могу».

Я ничего не знал тогда о мужественной правозащитной деятельности Jakobsona и не мог правильно оценить его уровень как личности. Он был мне, безусловно, симпатичен. Мы с ним говорили «на одном языке». Однако по сравнению с моим отцом он мне представлялся более тусклой фигурой. Тогда мне казалось, что все, что он может мне сообщить на уроках литературы, я уже слышал дома. Потом, спустя много лет, прочтя замечательные литературоведческие работы Jakobsona, я понял, что прежде во многом недооценивал его и как профессионала. И все же он был критиком, а не творцом...

К концу восьмого класса я умудрился переболеть энцефалитом, а затем выздороветь. Заново научился ходить. Мир был тогда для меня немного в тумане. И вот в один прекрасный сол-

¹ Именно в таком порядке, а не наоборот.

нечный день Якобсон пришел к нам в дом – навестить своего выздоравливающего ученика (и не только за этим). Я был в восторге от такого внимания, проявленного учителем к моей скромной персоне.

Помню, как отец и Якобсон сидели за столом и разговаривали о Пастернаке и о *самовыражении* в искусстве. Насколько я помню, с точки зрения Якобсона самовыражение было основной целью искусства. Он противопоставлял горячо любимое им самовыражение официальному искусству, у которого была совершенно иная цель – угодить правящему режиму.

Что касается моего отца, то «самовыражение» было для него ругательством. Он произносил это слово чуть ли не с презрением к тому смыслу, который оно в себе заключало.

Объяснить, в чем тут дело, непросто. Поздний романтик, мой отец требовал от искусства «объективности». Но вовсе не лживой объективности соцреализма (и даже не тупой объективности реализма), а той, дающей с болью объективности, которая состоит в отречении от слишком назойливых признаков собственного «я». Ему важно было уметь отстраниться от своего лирического героя.

Для того чтобы понять позицию отца, мне понадобились годы.

Возможно, Якобсон, как человек чрезвычайно умный и чувствительный, сумел бы понять то, о чем говорил мой отец, гораздо быстрее, чем я, если бы он не был заранее остро отрицательно настроен по отношению к своему собеседнику. А может быть, мой отец тоже недостаточно старался быть понятным. Для него как человека сочиняющего излагать свое творческое кредо явно, напрямую, было, как я догадываюсь, немного противно.

Таким образом, конфликт этих двух людей был предопределен. «Ну что ж, вы – эстет», – сказал Якобсон, поднимаясь из-за стола. Тут-то и выяснилось, ради чего он приходил. Это была, собственно, разведка боем. Видимо, Якобсон любил рисковать собой.

– Привет вам от Александра Сергеевича Есенина-Вольпина и Веры Ивановны Прохоровой, – сказал он, стоя в дверях. Затем

он сказал, что ему было нужно «кое-кого идентифицировать» и что это ему удалось.

Якобсон ушел, а мои родители с побелевшими лицами остались стоять у дверей. Тогда я впервые узнал от них, что Есенин-Вольпин и Прохорова были арестованы в 1949 и 50 гг. по чьему-то доносу и считают, что на них донес мой отец, но что на самом деле это не так. (Мои родители тогда не подозревали, что прогрессивное общественное мнение обвиняло моего отца не только в этих двух арестах, но и вообще в штатном осведомительстве.)

Естественно, я был потрясен. Мне еще не было пятнадцати лет, я только что худо-бедно выкрутился после энцефалита («Чудес не бывает!» – сказал знакомый доктор), и, хотя я был довольно прилично начитан для своего возраста, мой жизненный опыт был равен нулю. Почему эти люди так считают? Должен ли я бояться этих людей? Как все было на самом деле?

Чтобы ответить для себя на последний вопрос, мне понадобилось 35 лет.

Ну а кроме того, мне было тогда обидно, что учитель приходил вовсе не ко мне, а ради какой-то непонятной и враждебной моему отцу цели. Через много лет мое пострадавшее самолюбие было удовлетворено: я узнал, что Якобсон собирался меня усыновить, вырвав из лап злодеев, чтобы потом вырастить из меня хорошего человека. Было в этом замысле, на мой нынешний взгляд, нечто мичуринское, а может быть, даже лысенковское...

Так вот, через некоторое время после знаменательного визита (в самом начале девятого класса) мы с Якобсоном встретились уже в школе на лестнице и у нас произошел не менее интересный разговор.

Якобсон коротко сообщил мне то, что я уже знал, а затем добавил, что мой отец вообще какой-то «гений зла».

Я ответил ему, что мой отец ни в чем не виноват.

Тут уже была очередь Якобсона расстраиваться. «Ну вот, – сказал он, – с тобой превентивно побеседовали». Это значило, что ему будет труднее объяснить мне, как все было на самом деле. Слово «превентивно» до сих пор торчит у меня в голове, как гвоздь.

Тогда он предложил мне встретиться с теми людьми, от которых передавал приветы, с тем чтобы эти люди открыли мне глаза.

Я согласился. Яacobсон оставил мне свой телефон, по которому я должен был позвонить и договориться о встрече, причем, чтобы мои родители не догадались, о чем идет речь, я должен был его называть, если я сейчас не ошибаюсь, «Никита» (так звали моего школьного товарища).

Мысль о том, что Яacobсон поступает со мной так же хорошо, как человек, открывающий глаза мужу на неверность жены, т. е., как ни крути, осуществляет донос со всеми его прелестями, ни ему, ни мне не приходила в голову.

Я шагал по улице и рифмовал Есенина-Вольпина с «осенними воплями». Я думал, что встречусь с этими людьми и смогу защитить от них своего отца. Наверное, большего идиота, чем я, земля в то время еще не рождала.

Аргументы, направленные против моего отца, которые имели в запасе оба арестованных, были сработаны для них профессионалами с Лубянки, и я ничего не смог бы им возразить. Скорее всего, эти люди просто сломали бы мне психику. Думаю, что, в отличие от Яacobсона, жалеть меня никто из них не собирался.

Теперь вернусь к описываемым событиям. Поначалу благородная идея защитить собственного отца завладела мною, хотя и было несколько страшновато. Однако, когда пришла пора действовать, я совершенно струсил. В конце концов, я сформулировал для себя свою позицию так: «То, что было, случилось в 49-ом году, за два года до моего рождения, и это меня не касается. А мой отец – это мой отец».

И я позорно отказался от встречи. Яacobсон еще год проработал в нашей школе, теперь уже не как литератор, а как историк. Как известно, он был все время под подозрением «органов», и в 1967-ом году ему запретили преподавать литературу. Помню, что и историю он преподавал отлично. Мы по-прежнему с ним оставались друзьями. Затем он уволился (или его уволили?), и я только изредка встречал его в троллейбусах.

Потом под угрозой ареста он эмигрировал в Израиль.

Но до своего отъезда Якобсон, человек чрезвычайно общительный, успел побывать во многих домах и рассказать там о своей встрече с «гением зла».

В конце семидесятых Якобсон повесился.

Для меня его гибель была настоящим горем – он был, в сущности, единственным человеком, который не только поверил бы мне, когда я стал уже взрослым и разобрался в проблеме, но и считал бы своим долгом переубедить окружающих. Ведь он был виноват передо мной.

* * *

Бывшая жена Якобсона Майя Улановская (дочь арестованных советских разведчиков и лагерная подруга Прохоровой) в своих мемуарах уверяет читателя, что Якобсон заранее «не знал», в чей дом собирается прийти. Это, конечно, неправда. Дело в том, что в классных журналах в то время (речь о 1966 годе) записывались фамилии, имена, отчества и профессии родителей учеников. Не посмотреть в этот список Якобсон, очевидно, не мог – хотя бы потому, что брал мои школьные стихи домой, для прочтения, а потом возвращал со своими пометками. Конечно, он знал и (я полагаю) считал, что совершает мужественный поступок, отправляясь в логово «гения зла».

* * *

Еще, если верить Майе Улановской, Якобсону все время хотелось задушить моего отца «за черепашью шею», и только мое присутствие его останавливало. Впрочем, верить Улановской не обязательно (см. ниже).

III. МОЯ ВИНА

Годы потянулись довольно однообразной чередой, и, пока я был молод, отцовская история почти не сказывалась на моей жизни. Правда, людей приходило в дом все меньше и меньше.

Отец был очень общителен по натуре и страдал от надвигающегося одиночества, которое временами вызывало у него тяжелую депрессию. Впрочем, он мужественно справлялся с собой. Думаю, что преподавательская работа могла бы стать для него своего рода отдушиной, но возможность преподавать в Консерватории была для него закрыта, после того как он был изгнан оттуда в 48-ом году.

Что касается меня, то я был по-прежнему глуп, невнимателен к нему и озабочен своими проблемами. В сущности, невзирая на уже довольно солидный возраст, я по-прежнему не имел никакого жизненного опыта и не мог оценить совершенно невероятной, незаслуженной удачи, что этот человек – мой отец.

В 1986-ом году у моего отца случился инсульт, который он переносил с огромным достоинством. Он уже начал поправляться от этой болезни, когда у меня начались неприятности на работе. Читатель! Ты догадался, что это были за неприятности и откуда они были родом. Вполне приличные люди диссидентского толка узнали, кто мой отец, и решили за это сжить меня со свету. По своему неискоренимому идиотизму я проболтался об этом дома. Меня может отчасти извинить только то, что у нас в семье вообще не было принято что-либо скрывать друг от друга. Через 3 дня отец умер.

IV. ЧЕТЫРЕ ЦИТАТЫ ИЗ КАРПИНСКОГО

Теперь, прежде чем рассказывать о том, что было дальше, я попытаюсь обрисовать фигуру Игоря Карпинского.

Впервые он появился у нас дома в 1981-ом году; по-видимому, его привел к нам интерес к музыке моего отца. Карпинский довольно часто бывал у нас, пока отец был жив, и в известной мере перенял у него манеру игры на рояле, впрочем, несколько огрубив ее.

Отец каким-то неведомым мне образом умел изображать на рояле, как звучит оркестр. Скрипки, трубы, гобои – все это у него, как ни странно, получалось. Помню, что когда я был еще ребенком, у нас было такое совместное развлечение: я должен

был угадать, какой инструмент «звучит», слушая его игру на нашем пианино.

Так вот, насколько я могу судить, Карпинский все же не овладел подобными нюансами, но в общих чертах воспроизводил то необычное звучание инструмента, которое возникало, когда играл отец.

После смерти моего отца Карпинский бывал в нашем доме еще примерно в течение 13 лет; в общей сложности получается лет двадцать.

Он сделал для нас много добра: бесплатно проверял корректуры нот, общался с исполнителями. Возможно, мы даже злоупотребляли его добротой и преданностью музыке моего отца, считая его почти родственником.

В какой-то момент выяснилось, что еще до того как появиться в нашем доме, Карпинский уже хорошо знал о слухах, циркулировавших вокруг имени моего отца, и, более того, был знаком с первоисточниками этих слухов. Впрочем, я никогда не опускался до мысли о том, что он способен на какую-то двойную игру и ведет в нашем доме сбор сведений, могущих окончательно и бесповоротно скомпрометировать моего отца. Такое мне казалось просто невозможным.

Иногда я слышал от Карпинского, что «истинный [в духовном смысле] сын Александра Лазаревича – это он, Карпинский, а я – так, некий побочный продукт».

В 1998-ом году при значительном моем участии была издана книжка воспоминаний о моем отце; главной ценностью этой книжки являются, конечно же, 9 писем Марии Вениаминовны Юдиной, адресованных разным людям, но посвященных моему отцу. Своего участия в составлении этой книжки я постарался никак не отразить, и предисловие вышло за подписью Карпинского, который его выслушал по телефону и сказал «ладно».

Его же собственные воспоминания о моем отце я не включил в сборник (это послужило причиной тяжелого конфликта). Мне казалось, что представленный им текст несколько напыщенный и не соответствует строгому и аскетическому облику моего отца. Я думал, что его статья разрушит внутреннее единство

сборника, а неумеренные восторги по поводу музыки вызовут насмешки. В его статье содержалось, например, утверждение, что музыка Локшина обладает качествами, которые «обеспечивают ей бессмертие».

Когда я попросил его написать что-нибудь в более сухом, строгом стиле, с ним сделалась истерика.

Наши отношения продолжали накаляться, но я не могу себе представить, что одно лишь это заставило Карпинского в конце концов выступить против моего отца (спустя тринадцать лет после его смерти). Думаю, что основная причина не в этом, а в чем-то другом.

В заключение этого раздела, посвященного Карпинскому, я приведу четыре цитаты, которые мне кажутся довольно красноречивыми.

«Мы с ним [Локшиным] общались исключительно о музыке.»

Карпинский, 2000 («Эхо Москвы»)

«Мы много говорили с Александром Лазаревичем о самых разных вещах.»

Карпинский, 1998

«Выяснение его [Локшина], так сказать, каких-то социальных, что ли, характеристик – это дело, видимо, определенных органов, следственных, еще каких-то...»

Карпинский, 2000 («Эхо Москвы»)

«...личность такого масштаба [как Локшин] мне больше никогда не встречалась. Было ощущение, что этот человек знает все, что он владеет всем миром явлений, что нет ничего такого в искусстве (и не только), что было бы ему неизвестно или непонятно. При этом я не чувствовал себя рядом с ним маленьким и ничтожным. Наоборот, казалось, этот человек возвышает меня – наверное, невольно – до своего уровня, помогает понять, овла-

деть чем-то мне неизвестным. Мне казалось, что это божество, наделяющее меня благодатью».

Карпинский, 1998

Вторая и четвертая цитаты взяты мной из той рукописи, которую я исключил из сборника, посвященного моему отцу. Я рад, что она, наконец, пригодилась.

V. СПЛЕТНЯ, ГЛАСНОСТЬ И СТУКАЧИ

Представив читателю Карпинского, вернусь к своему не особенно хронологическому повествованию. Как я уже говорил, пока я был молод, отцовская проблема почти не касалась меня. Один только раз я пережил сильнейшее унижение, когда профессор математики Виктор Иосифович Левин не узнал меня при встрече. Я только что закончил мехмат и приходил навестить своего приятеля, который учился у Левина в педагогическом институте. Мы столкнулись с Левиным в дверях, и он со мной не поздоровался. То, что он мог меня действительно не узнать, исключено. Я был его любимым учеником в восьмом классе (он и Якобсон преподавали в нашей школе одновременно). А после десятого класса Левин уговаривал меня поступать не на мехмат, а именно в его институт, где я мог бы учиться лично у него.

Надо сказать, что смысла произошедшего я тогда так и не понял.

Другие столь же выразительные эпизоды относятся уже к 1986-ому и более поздним годам, и мне нет смысла все их перечислять.

Здесь же мне хочется отметить два обстоятельства.

По-видимому, сплетня, окружавшая имя моего отца, равномерно росла как грязный ком, и к 86-ому году этот ком достиг таких размеров, что шишки стали сыпаться и на меня. То, что отец к тому времени был стар и болен и уже не появлялся на людях, только благоприятствовало размножению слухов.

Другое обстоятельство было вот какое. В 86-ом году начались перестройка и гласность, и люди, униженные многолетним

молчанием и страхом, спешили отомстить. То, что мой отец мог быть оговорен и оклеветан, было слишком тонким соображением, которое никто не желал принимать в расчет¹. Помню, как примерно в это время мой приятель Саша Шнирельман, эмигрировавший позднее в Израиль, начал мне недвусмысленно хамить, причем как раз тогда, когда я пытался пристроить его на работу.

Я догадался, что если вежливо сносить это хамство и вообще цепляться за какие-то дружеские или приятельские отношения, то тень, витавшая вокруг имени моего отца, упадет уже на меня самого. Поэтому я, при первом же подозрении на неуважение к моей персоне, стал рвать отношения со своими знакомыми, причем в жесткой и окончательной форме. Начал я, естественно, со Шнирельмана.

Наконец, мне хочется сказать еще об одной стороне дела. Кроме людей чистых, желавших насолить мне из самых лучших и прогрессивных побуждений, имелись еще и стукачи. Для них история моего отца была просто находкой...

VI. УЛЬТИМАТУМ ГЕННАДИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО

После смерти отца одно его оркестровое сочинение было все-таки исполнено в 1988-ом году. Это была его 8-ая симфония («Песни западных славян»). Дирижировал Владимир Зива, пел Алексей Мартынов. Это было прекрасное исполнение, дарованное нам Союзом композиторов в связи со смертью Локшина.

Однако в целом ситуация с исполнением сочинений моего отца складывалась тупиковая. Дирижеры отказывались от его сочинений, ссылаясь на то и се.

Тогда моя мать позвонила Геннадию Рождественскому, чтобы напомнить о музыке моего отца. Рождественский единственный из всех назвал причину своего отказа прямо, за что я ему, в сущности, благодарен. Он сказал моей матери примерно

¹ Замечу кстати, что единственной статьей в сборнике, посвященном памяти моего отца, где встречается слово «клевета», была статья М.А. Мееровича. Карпинский с завидной настойчивостью пытался выкинуть эту статью из сборника.

следующее: «До тех пор, пока вы мне не докажете, что Локшин не виновен в арестах и не назовете их истинного виновника, я играть Локшина не буду».

Думаю, что невиновность моего отца будет достаточно ясна из этих записок. Что касается истинного виновника, то, я надеюсь, сообразительный читатель сам все поймет.

Наверное, мне стоит здесь рассказать о финале взаимоотношений отца с Рождественским.

В 1979-ом году Рождественский должен был исполнять сочинение моего отца в Лондоне. Это была 3-я симфония на стихи Киплинга. После репетиции Рождественский прислал отцу довольно-таки лестное письмо, в котором приглашал его в Лондон на премьеру. Отца, естественно, туда не пустили.

Премьера прошла с большим успехом, но без автора. Некоторые (например, Карпинский) считают, что 3-я симфония – одна из вершин творчества моего отца. Сам он слышал исполнение этого своего сочинения только в записи, причем на скверной пленке.

Но главное было, конечно, не в этом. Когда Рождественский вернулся в Москву, их отношения с моим отцом как-то расклеились. Отец, вероятно, не сразу понял, в чем дело. Вскоре оказалось, что это был полный разрыв.

VII. ПОХОД В «МЕМОРИАЛ»

Теперь я расскажу о том, как в 89-ом году, во время апогея перестройки и гласности, я отправился в «Мемориал», чтобы мне помогли там узнать истину о моем собственном отце.

В «Мемориале» в то время уже работал и занимал там, если не ошибаюсь, видное положение правозащитник Александр Даниэль, с которым мы учились когда-то в одной школе. Я надеялся, что он меня вспомнит и как-то поможет в моем деле.

Накануне я переболел сильнейшим гриппом и имел поэтому весьма бледный вид. Моральная проблема, которую я нес в себе, тоже, наверное, как-то отражалась на моем лице. Это привело к тому, что, пока я поднимался по лестнице, все со мной

здоровались, улыбались мне и кланялись. Думаю, что меня ошибочно приняли за какого-то правозащитника.

Мы встретились с Сашей Даниэлем очень дружески и уселись поговорить в закутке на диване. За 20 лет, что мы не виделись, Саша Даниэль сильно изменился. В школе это был тихий, скромный мальчик с мягкими чертами лица. Те времена были очень трудными для него (а я, напротив, жил припеваючи). Тогда он казался мне будущим неудачником. Теперь же выяснилось, что неудачник – это я сам.

Я приглядывался к нему. Видимо, он успел пройти через какие-то тяжелые испытания, неведомые мне. Черты его лица стали чрезвычайно жесткими – я никогда не встречался раньше с такими метаморфозами. Мне пришло в голову, что все мои проблемы для него – тьфу.

Тем не менее, наш разговор начался вполне дружески. Я изложил ему суть дела, и Даниэль сказал:

– Да, я что-то такое вспоминаю. Твой отец был, кажется, музыковед?

– Нет, – отвечал я, – он был композитором.

– Тогда я тебя не понимаю, – сказал он. – Главное, чтобы исполняли его музыку. А стучал он при жизни или нет – какое это теперь имеет значение?

Я, слава богу, понимал, что дело обстоит как раз наоборот.

Я сказал:

– Понимаешь, наш телефон при жизни отца все время прослушивался. Письма вскрывались. Где-то должно быть на моего отца какое-то «дело»...

Он отвечал:

– Ну да, на всех стукачей заводились какие-то «дела»...

Мы явно не понимали друг друга.

Тут в коридоре зазвонил телефон и раздался чей-то радостный голос: «Нет, ты представляешь, этот диссидент из Саратова оказался стукачом!»

Я понял, что здесь течет какая-то своя жизнь, полная особого внутреннего смысла, и что я здесь абсолютно чужой. Тем не менее, напоследок я попросил Даниэля:

– Помоги найти хоть какое-то «дело». Мне не нужно оправдывать отца. Мне нужно узнать истину. И не надо меня щадить!

– Ладно, звони, – сказал Даниэль.

Когда я спускался по лестнице, местная публика, слышавшая наш разговор, смотрела на меня очень холодно.

Через неделю я позвонил ему на работу – его не было. Тогда я позвонил ему домой. Там его тоже не было. Я позвонил на дачу. Его не было и на даче. И на следующий день тоже, и так далее. Короче говоря, он скрывался от меня.

Наконец, в «Мемориале», куда я продолжал названивать, каждый раз называя себя, сжалились надо мной и дали какой-то телефон, по которому можно было узнать «то, что нужно».

Я позвонил по этому телефону, представился и сказал:

– Понимаете, за моим отцом, пока он был жив, органы все время следили, телефон прослушивался – ну, вы сами знаете, как это определяется. Не посоветуете ли вы мне, как это можно подтвердить документально?

– Чего?! – рявкнула трубка басом.

Ситуация с моим отцом стала казаться мне безнадежной.

В заключение добавлю еще два слова о том впечатлении, которое осталось у меня от встречи с А. Даниэлем. Надо сказать, он все-таки удивил меня. Дело не только в том, что этот жесткий, мужественный человек стал от меня скрываться, вместо того, чтобы сказать прямо: «Ну не приставай, мил друг, разве не видишь, что у нас тут дела поважнее?» Дело еще и в том, что у его знаменитого отца есть такой рассказ. Одного ни в чем не повинного человека обвиняют в стукачестве. И доводы вроде бы неопровержимые. От него уходит жена, отворачиваются друзья. Он оказывается в полном, абсолютном вакууме. А понять, в чем дело, не может. Вот такой рассказ.

Думаю, что Саша Даниэль этого рассказа не читал.

VIII. ПЕРВАЯ ЗАЦЕПКА

Я начал поглощать правозащитную и диссидентскую литературу. Буковский, Делоне, Лидия Чуковская, Солженицын, Марченко, Войнович, Григоренко... Я читал все подряд, в надеж-

де узнать что-то такое, что предназначено именно мне. Передо мной открылся целый мир, доселе неизведанный. Я понял, что мой отец, живя в изоляции, много потерял. Он очень любил историю, а эти сочинения, которые и есть история нашего времени, до него не дошли.

В результате моих поисков мне удалось выудить из мемуарной и диссидентской литературы ключ к проблеме моего отца. Ключ это оказался весьма нетривиален.

Но самую первую зацепку дала мне Надежда Мандельштам. В первой книге ее «Воспоминаний» я прочел, что сама Лубянка любила распускать слухи про неугодных ей людей, что они являются агентами НКВД. Кажется, это у них называлось «операцией по дискредитации».

IX. ДВА СЛЕДОВАТЕЛЯ. ОТЕЦ НЕВИНОВЕН

Следующий эпизод моего повествования также относится к 1989-ому году и записан мною со слов матери.

После моего неудачного визита в «Мемориал» она написала письмо в КГБ. В этом письме она просила сообщить ей, причастен ли мой отец к арестам Есенина-Вольпина и Прохоровой, произошедшим в 1949-ом и 1950-ом годах, и, в случае его непричастности, выдать соответствующий документ. Этот документ она думала показывать дирижерам...

Примерно через 2 месяца раздался звонок, и незнакомый голос осведомился, будет ли она дома в такой-то день и час.

И вот, в наш дом к моей матери (а я в это время был на работе) пришли два следователя с лицами, в высшей степени незнакоминающимися. Они взмахнули в воздухе своими книжечками, потом выглянули из окна и сказали: «Да, хороший у вас район!» (А дело было летом.) Потом они сели спиной к окну и один из них произнес:

— Мы пришли к вам по поручению руководства, чтобы сообщить, какое отношение имеет ваш муж к арестам Прохоровой и Есенина-Вольпина. Так вот...

Тут он сделал длинную паузу. А потом продолжил:

– Ваш муж не имеет к этому никакого отношения!
Моя мать ответила ему:
– А я в этом и не сомневалась.
– Тогда чего же вы от нас хотите? – удивился следователь.
– Мне нужна справка.
– Ну что же, – сказал следователь, – это мы для вас скорее всего сделаем. Но нам нужно посоветоваться с руководством.

Мать продолжала:

– Но мне не требуется знать, кто это сделал. Вольпин и Прохорова были арестованы очень давно – сорок лет тому назад. К тому же этого человека могли заставить, ему могли чем-нибудь угрожать...

Следователи оживились и заулыбались. «Вот это – правильная позиция», – сказали они и, пообещав сделать все возможное, исчезли.

Больше от них не было ни слуху ни духу.

Х. ПОМОЩЬ ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ

Устное сообщение следователей, естественно, невозможно было предъявить дирижерам, шарахавшимся от музыки моего отца. Тому же Рождественскому, например.

Тогда мать призвала на помощь свою подругу студенческих лет Лелю (Елену Петровну Бунтман), которой пришлось пережить расстрел отца и дяди и которая могла знать людей, занимавшихся реабилитацией. И действительно, у Е.П. Бунтман оказался знакомый в «Огоньке», который прислал к нам Аллу Боссарт, с тем чтобы она провела журналистское расследование. Сын Елены Петровны, Сергей, выражал тогда моей матери сочувствие и предупреждал, что расследование нужно проводить в высшей степени осторожно, чтобы не навредить, ибо дискредитация была делом рук профессионала.

Однако начатое было расследование быстро натолкнулось на непреодолимые препятствия из-за засекреченности архивов и засохло.

Все это происходило в начале 90-ых годов.

ХІ. ВСТРЕЧА С ЕСЕНИНЫМ-ВОЛЬПИНЫМ

Теперь я перехожу к одному очень важному эпизоду: к рассказу о своей встрече с Есениным-Вольпиным и о том, к чему она привела. Собственно говоря, этих встреч было две, и обе они относятся к началу девяностых (к 1992-ому году, если не ошибаюсь). Но я расскажу только об одной из них, на которой, кроме моей матери и меня, была еще пианистка Елена Кушнерова, вскоре после этого эмигрировавшая в Германию. Из второй встречи, происходившей в присутствии Аллы Боссарт, я не извлек для себя ничего нового.

Но прежде чем начинать свой рассказ о встрече с Вольпиным, я должен сделать небольшое отступление.

Мой отец очень любил стихи; из его 11 симфоний десять написаны на поэтические тексты, да и камерные сочинения отца тоже почти все с голосом. Эту свою любовь он ухитрился передать и мне, так что я одно время просто бредил стихами.

Когда я был еще школьником, отец рассказывал мне, что Вольпин писал прекрасные стихи и что сам он (речь шла, по-видимому, все о том же роковом 49-ом годе) брал стихи у Вольпина и переписывал, и хранил их одно время у себя в столе. Но после ареста Вольпину предъявили его собственные стихи на допросе, и он решил, что мой отец их переписывал для доноса.

Еще отец рассказывал, что когда Вольпин освободился из заключения, то приходил в наш дом и обвинил его в своем аресте. А сам он накричал на Вольпина и отдал ему его стихи.

Одно из стихотворений Вольпина, написанное в манере «Ворона» Эдгара По, поразило когда-то воображение моего отца, и он рассказывал мне о том, какая это была замечательная вещь, но все слова стерлись из его памяти. Я был уверен, что никогда не смогу ни прочесть, ни услышать вольпинского «Ворона», и мне было досадно, что отец все позабыл. Вольпинский «Ворон» успел поразить и мое воображение, причем до того, как я услышал хотя бы одну строчку из него.

Так вот, в 92-ом году мать узнала от своих знакомых, что Вольпин на некоторое время приехал в Москву из Америки, где он довольно давно жил в вынужденной эмиграции.

Мать позвонила ему, и буквально через день или два Вольпин пришел к нам домой.

Он появился в дверях, и я стал его разглядывать. Первое мое впечатление от Вольпина было безусловно положительное.

Меня же он рассматривал чрезвычайно критически, ища следы наследственных пороков, и глаза его горели яростным светом.

Мы прошли в комнату, где висел портрет отца, и расселись все вчетвером друг напротив друга. После нескольких банальных общегеографических фраз разговор коснулся моего отца.

– Ты, конечно, всем говорил про Шуру, – сказала мать.

– Конечно, когда я освободился, я всем рассказывал, кто меня посадил. Но года через два перестал, потому что мне показалось, что это нехорошо. А Вера продолжала, – сказал Вольпин.

Потом он подумал и добавил:

– Вообще-то Шура был недалекий человек¹.

Это был очень важный момент в разговоре – «гений зла» оказался недалеким человеком. В тот момент я не придал последней фразе Вольпина должного значения. А ведь она раскрывала способ рассуждений, которым он пользовался, чтобы вычислить стукача. Чтобы обвинить моего отца, он должен был обязательно считать его очень неумным человеком.

Тогда я спросил Вольпина, почему он считает, что именно мой отец был виновен в его аресте. Вольпину не хотелось отвечать. Он сказал, что все это было давно и что все это давно пора забыть. Но я настаивал. Тогда он, надо сказать, довольно нехотя, ответил.

Во-первых. После освобождения он как-то случайно встретил моего отца на улице и спросил, за что тот его посадил. А мой отец начал на него орать, вместо того чтобы отвечать спокойно и рассудительно.

Во-вторых (и это было главным). На допросах следовательно предъявлял ему некоторые фразы, которые он говорил моему отцу наедине.

¹ Что касается меня, то я был принужден все это молча выслушивать. У меня не было аргументов, чтобы вступить за отца.

– Все вплоть до слова «блевотина»! – сказал Вольпин с гневом. (Внимание, читатель!)

Потом он сказал, что там были и другие фразы, которые он говорил (видимо, тоже наедине) другим людям.

– В общем, какая-то каша, – добавил он.

Что касается предъявленных ему его собственных стихов, то на этот раз Вольпин ничего не стал о них говорить.

Тогда я попросил его почитать стихи. Он согласился, и я записал его на магнитофон. Мне стало казаться, что замыкается какой-то очень большой круг, его стихи снова попали в наш дом! Читал он глухим картавым голосом, в той особенной манере, в которой читают только поэты и больше никто. Начал, конечно же, со своего «Ворона»:

*Как-то ночью, в час террора,
Я читал впервые Мора,
Чтоб «Утопии» незнание мне не ставили в укор...*

Стихотворение действительно оказалось превосходным, мелкие технические погрешности совершенно его не портили. Тема террора была подана в великолепном, необычайном ракурсе. Это стихотворение разрушило мое давнее убеждение, что даже небольшая доза политики убивает поэзию. Конечно, мой отец не мог не восхищаться этими стихами.

Потом мы слушали записанное на магнитофон одно сочинение моего отца. Вольпин его терпеливо выслушал, а когда симфония кончилась, великодушно сказал:

– Прошлое надо забыть. Пусть музыка звучит, а остальное никому не нужно.

Мы пошли пить чай.

– Хорошо, что ты пришел. Ты знаешь, что Шуры уже пять лет как нет с нами, – сказала мать.

– Если бы Шура был жив, мы бы выпили с ним бутылку водки, – сказал Вольпин. – Я навел о Шуре справки и знаю, что *потом* он вел себя прилично.

Через некоторое время разговор себя исчерпал. Кушнерова и Вольпин засобирались домой. Я отправился их проводить на

остановку троллейбуса. Было холодно и сыро. Троллейбус долго не шел. Тогда Лена Кушнерова сказала:

— Не жди, иди домой.

— Ничего, ничего, — ответил я, — я вас посажу. И окаменел.

ХII. БЕСОВСКАЯ МУЗЫКА

От встречи с Вольпиным у меня не осталось почти никакого осадка. Я понял, что он великодушен к мертвым и действительно не возражает против того, чтобы кто-нибудь исполнял сочинения моего отца.

В данном пункте он сильно отличался от непримиримо прогрессивной общественности.

Примерно в это же время произошел такой эпизод. Дима Гаранин (муж Лены Кушнеровой) пригласил своего приятеля, человека в высшей степени прогрессивного, послушать в Рахманиновском зале Консерватории камерное сочинение моего отца «Три стихотворения Федора Сологуба». (Партию рояля исполняла Лена, пела Раиса Левина.) И получил в ответ:

— Ни за что я туда не пойду, потому что музыка эта бесовская!

ХIII. СПИСКИ СТАНДАРТНЫХ ФРАЗ. Я НА ЛОЖНОМ ПУТИ

Примерно через год после описанной выше встречи с Есениным-Вольпиным мне попала в руки книжка, написанная Андреем Амальриком, в которой он рассказывает, в частности, о своем тюремном и лагерном опыте 1960–70-х годов. Мне бросились в глаза два эпизода, относящиеся к 1972-ому году:

« <...> Первым «источником» показаний была запись моего интервью Си-Би-Эс, приложенная к делу и очень понравившаяся при чтении, следовательно по ней *инструктировал свидетелей* (здесь и далее курсив мой. — А.Л.), считая, видимо, что раз я то-то и то-то говорил корреспонденту Си-Би-Эс, так мог повторить и в лагере. Вторым «источником» было собственное воображение

зэков, подогреваемое желанием угодить начальству. Показывая, что я постоянно выключал радио – что правда, добавляя, что я называл передачи «коммунистической *блевотиной*» – *чего я не делал*. <...>»¹

« <...> Грязнев, верзила со змеиной головой, сидевший за грабеж, показал, что я называл радиопередачи «блевотина» или «блеф» – *следователь предпочел «блевотину»* <...>»².

К тому времени из диссидентской литературы я уже знал, что в системе НКВД были распространены списки стандартных антисоветских фраз, которые инкриминировались арестованным гражданам, причем списки, предъявляемые интеллигентам, отличались от списков, предназначенных рабочему классу³.

Я решил, что «блевотина», предъявленная на допросе Вольпину, и та, что была приготовлена для Амальрика, почерпнуты из одного источника. Я вспомнил рассказ Вольпина о своих допросах, происходивших в 49-ом году («там была какая-то каша»), и пришел к выводу, что ему в тюрьме зачитывали просто-напросто списки из стандартных фраз. Сам же он, насколько я его тогда понял, продолжал считать, что все это результат доносов и показаний многих людей. Дефект моих умозаключений был, прежде всего, в том, что с помощью одних лишь «типовых антисоветских высказываний» можно прикрыть стукача, но невозможно прицельно оклеветать человека.

Итак, я был на ложном пути. В реальности все обстояло куда интереснее. В одной из своих статей Прохорова процитировала предъявленную Вольпину фразу целиком (и я ей здесь вполне доверяю, придумать такое невозможно):

– Вместе с блевотиной из меня вышла советская власть!

Конечно, эта поэтическая метафора никак не могла присутствовать в типовом списке.

¹ Амальрик А. Записки диссидента. М.: Слово, 1991, с. 305.

² Там же, с. 307.

³ См., например, Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Книга первая. Париж: ИМКА-ПРЕСС, 1982, с. 86.

XIV. ОТВЕТ ВОЛЬПИНУ

Из мемуарной книги Юрия Айхенвальда – одного из друзей Вольпина – я узнал, что ближайшей, фактически неразлучной подругой Вольпина была в те годы (конец сороковых – начало пятидесятых) дочь расстрелянного специалиста по прослушиванию жилых помещений. Я думаю, что одного этого достаточно, чтобы не принимать свидетельства Вольпина всерьез.

Тем не менее, продолжу. Из недавно вышедшей в «7 искусствах» статьи известного математика Михаила Цаленко «Взгляд назад невидящих глаз» я узнал, что в 1945 году группу студентов посадили за чтение стихов Вольпина. Замечу, что сам Вольпин был арестован в 49 году и до своего ареста продолжал публично читать свои стихи.

Свидетельствует Инна Львовна Кушнерова, ученица моего отца: «У Лыткиной ... я встретила и Есенина-Вольпина. Ваш отец с восторгом мне его представил как талантливое поэта. И поэт стал читать свои стихи. Читал он очень темпераментно, ярко, громко – *в коммунальной квартире*. Стихи были действительно талантливые, но такие антисоветские, что я до сих пор помню то ощущение ужаса, которое меня тогда охватило. Народу в комнате было много. Когда мы выходили из квартиры, я уже ожидала, что увижу фургон, который нас всех увезет на Лубянку. Но тогда все обошлось». (Мой отец познакомился с Вольпиным в 49 году, так что приведенный эпизод с чтением стихов относится именно к 49 году.)

Достаточно ли сказанного для того, чтобы счесть Вольпина подсадной уткой? Или нужно что-то еще?

Вот, пожалуйста – в книге «Мои истории» акад. С.П. Новиков пишет о том, как Вольпин в 49 году (незадолго до ареста) подошел к итальянской делегации и сказал им на чистейшем итальянском языке: «Вам все врут!».

А вот, что говорит С.С. Виленский в своем интервью, данном им в середине двухтысячных Франческе Джусти-Фичи; аудио-запись есть в интернете:

<https://www.youtube.com/watch?v=67zd7ZVKdHw>

«То, что он [Вольпин] был обвинителем [Локшина] , это первое, что заставило меня засомневаться в этой истории. В достоверности ее я засомневался. Потому что на него [Вольпина] не надо было доносить. ... Он не нуждался ни в каких доносах. То, что он обвинял Локшина, что Локшин его стихи передал кому-то, представителям злой силы, – их не надо было передавать. Он читал, Алик, всюду свои стихи. Я помню его голос еще мальчишкой, [он] был у меня дома, читал их».

Да, я считаю, что Вольпина использовали – втемную – в качестве подсадной утки, и арестован он был не по доносу, а в силу производственной необходимости. Итак, я думаю, что на обвинения Вольпина в адрес моего отца ответил. Сейчас же приведу некоторые душераздирающие подробности о сталинских психушках.

XV. ПАРАДОКСЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТЮРЕМНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Цитата первая [1] (см. также [4])

«К моей автобиографии

21 июля 1949 г. я был арестован органами МГБ по ст. 58-10 УК РСФСР 1926 г., подвергнут судебно-психиатрической экспертизе и направлен на принудительное лечение в Ленинградскую психиатрическую больницу [ЛТПБ]; 9 сентября 1950 г. это дело было пересмотрено Особым Совещанием при МГБ и я был сослан в г. Караганду на 5 лет. Освобожден от ссылки Указом об амнистии от 27 марта 1953 г., после чего вернулся в Москву на постоянное место жительства. Постановлением Верховного Суда СССР от 25/І-1956 я был реабилитирован. <...> Вольпин»

Цитата вторая (см. [5, с. 59–60]).

«Из заявления С.Г. Сускина в КПК при ЦК КПСС от 28 ноября 1956 года:

“При царизме сидел в 13-ти тюрьмах; имею возможность сравнить с условиями бериевских тюрем, где я был в 1949–1954 гг.

ПЫТКИ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕВИНОВНЫМ ЛЮДЯМ ПРИ БЕРИЯ НЕ ИМЕЮТ ПРЕЦЕДЕНТА. <...> Мне известно, что врач-лаборант, лет 50-ти, очень хорошо относившаяся к заключенным и высказывавшая мне свое возмущение порядками в ЛТПБ (фамилию не помню), бросилась в Неву, не выдержав этой обстановки.

МНОГИЕ ИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, НЕ ВЫДЕРЖАВ УСЛОВИЙ ЛТПБ, УМЕРЛИ В ПЕРИОД МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ”».

Цитата третья (см. [3, с. 247]).

«Теперь про Вольпина, как Вольпин туда [в Караганду] попал. Он получил, оказывается 5 лет ссылки. Выяснилось, что существует такая возможность: тебя могут арестовать, предъявить 58-ю, потом ты проходишь экспертизу, тебя признают психически ненормальным, после этого ты ГОД-ПОЛТОРА ПРИМЕРНО БОЛТАЕШЬСЯ В ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ [ЛТПБ], ГДЕ КОРМЯТ НОРМАЛЬНО, ПРОГУЛКИ, БИБЛИОТЕКА – В ОБЩЕМ, СОВСЕМ НОРМАЛЬНАЯ, ПРИЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. И после этого, мало того, что тебя не отправляют в лагерь, тебе еще дают 5 лет свободы. Оказывается, вот таким образом можно было спастись от советской власти, от ее карающей руки. Это было потрясающе!»

Я выделил заглавными буквами наиболее выразительные места в двух последних цитатах.

Контраст между этими цитатами колоссален. А ведь речь в них идет об одной и той же Ленинградской тюремной психиатрической больнице и об одном и том же 1949 году. Полагаю вполне естественным, что Вольпина берегли, – он был нужен «системе» (и не только в деле моего отца).

[1] <http://memo.ru/d/197600.html>

[2] http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/volpin.html

[3] Айхенвальд Ю.А. Последние страницы. – М., РГГУ, 2003.

[4] Вольпин А.С. Избранное. – М., РГГУ, 1999.

[5] Прокопенко А.С. Безумная психиатрия. – М.: «Совершенно секретно», 1997.

XVI. ВОЛЬПИН: ПОРТРЕТ ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРА

Специально для читателя, не знакомого с реалиями позднесталинского времени, приведу еще одну великолепную цитату из Айхенвальда:

<<Ну, например, у него [Вольпина] была теория гипноза. Он сказал, что он вдруг ощутил в себе силы гипнотизировать. Ну ладно, ощутил – ощутил. Посмотрим, что же он будет делать-то? «А вот, – сказал он, – сейчас я вам это продемонстрирую». Я не помню, при мне это было или уже после моего ареста. Подошли к столовой. «Вот, – говорит, – сидят там люди, я сейчас сделаю так, что они встанут и уйдут». Он подошел к столу – сидели там два какие-то мужика, чай пили. Я думаю, что он хитрый – бессознательно выбрал именно мужиков, которые допивали чай. А может быть, им повезло, он подошел к ним случайно. Он подошел и сказал: «СМЕРТЬ БАНДИТУ СТАЛИНУ И ФАШИСТСКОМУ ПОЛИТБЮРО» [выделено мной – А.Л.]. Мы этого не знали, мы видели другое: он подошел, что-то сказал, они встали и ушли [Караганда, 1951 год]>>.

(См. Айхенвальд Ю. Последние страницы. – М.: РГГУ, 2003, с. 289).

А вот исторический фон, на котором все это происходило:

<<В декабре 1949 года [5 управление МГБ СССР] было реорганизовано в агентурно-розыскное подразделение, наследовавшее функции ранее существовавшего в НКВД секретно-политического отдела. 5 управление имело глубоко законспирированную сеть из почти 11 миллионов [!] тайных общественных агентов-информаторов.>>

(См. «Государственный антисемитизм в СССР: 1938–1953. Документы» / Под ред. А.Н. Яковлева. – М.: «Материк», 2005, с. 386).

XVII. О ВЕРЕ ИВАНОВНЕ

Так уж вышло, что свой окончательный ответ на вольпинские обвинения я привел в предыдущих параграфах, нарушив тем самым хронологию своего рассказа. Связано это с тем, что Воль-

пин свои обвинения не публиковал в виде статей и у нас с ним не возникало публичной перепалки, которая заслуживала бы более-менее хронологического рассмотрения. Свой ответ на прохоровские обвинения мне будет удобно привести не сейчас, а несколько позже.

Итак, в 1998-ом году вышла книжка воспоминаний о моем отце. Мы отправили ее в редакцию газеты «Известия», надеясь, что там в отделе культуры ее прочтут и появится какая-нибудь рецензия.

Никакой рецензии, естественно, не появилось. Вместо этого через три дня вышла статья А. Григорьева размером с газетный лист, которая называлась «Прохоровы с Трех гор» («Известия», 12 мая 1998, № 84).

Вот цитата из этой статьи, относящаяся персонально к моему отцу:

«...вскоре мы оказались в подвале, где мне предъявили ордер на арест (кстати, уже месячной давности) и повели на обыск¹. Один вопрос стучал в голове: “Кто?!”

Допросы шли полгода. Устраивались и очные ставки. С сестрой Шуры, ее доброго приятеля <...>.

Приговор гласил: 10 лет без права переписки за агитацию по ст. 58–10. Слава Богу, это означало и впрямь 10 лет, а не расстрел. Но куда страшнее было предательство друга. С тех пор она выбросила из своей речи выражения вроде:

“Генрих Густавович (Нейгауз) мне говорил...”, или “Роберт Рафаилович (Фальк) сказал...”».

В начале этого отрывка «добрый приятель Шура» – это мой отец. В конце отрывка «предательство друга» – это тоже про моего отца.

То, что в обоих случаях употреблены разные термины, – не случайно. Это говорит лишь о том, что В.И. Прохорова не до конца уверена в виновности моего отца.

Это вполне интеллигентный отрывок. Он даже не выглядит как месть моему отцу (напомню, что отец к тому времени уже

¹ В.И. Прохорова была арестована в августе 1950 г. (см. статью А. Григорьева).

11 лет как умер). В случае чего можно сказать, что добрый приятель Шура – это один человек, а предавший друг – кто-то другой.

Вообще может показаться, что раз полной уверенности в виновности моего отца нет, то торжествует презумпция невиновности.

И, тем не менее, кто-то с чьей-то подачи почему-то перекрыл моему отцу возможности исполнения его сочинений по всей России, по всей Европе...

Потом в телевизионной передаче «Старая квартира» В.И. Прохорова почти дословно повторила процитированный мною отрывок. При этом она добавила, что в нынешние демократические времена не ходила рассматривать свое «дело», поскольку «нагляделась на него в тюрьме».

А еще был телефильм, посвященный целиком В.И. Прохоровой. Этот фильм показался мне несколько затянутым. Он продолжался, если не ошибаюсь, минут сорок пять.

Вообще, я не раз видел эту заслуженную преподавательницу английского языка по телевизору. Я понял, что В.И. Прохорова – весьма влиятельный человек и вращается в высшем обществе. К тому же в статье было написано, что ее большими друзьями были такие знаменитости как Святослав Рихтер и Юрий Нагибин.

Кстати, чуть не забыл сказать. Итальянские друзья моей матери рассказывали ей, что Нагибин (не знакомый с моим отцом) энергично продвигал сплетню о нем на Римском радио. Совпадение, конечно. Сам, наверное, догадался...

В заключение этого раздела приведу еще одну цитату из статьи А. Григорьева о Вере Ивановне:

«А освободили ровно через шесть лет после ареста. Комиссия спросила, за что сижу и почему не подавала на помилование. Ответила, что лишь высказывала мнение о положении в своей стране, горяча любимой, а потому и не подавала никаких прошений.

Через пять минут меня реабилитировали, сказали, что на любой работе могу не упоминать о пребывании в лагерях. Но куда же мне девать эти шесть лет? Пишите, что работали в системе КГБ... Боже упаси, этого еще не хватало!»

Этот отрывок В. И. Прохорова потом тоже почти дословно повторила в передаче «Старая квартира». Зачем было нужно муссировать этот несколько двусмысленный момент, я так и не понял.

Замечу, что в лагере Прохорову (как она сама говорит в интервью журналистке Е. Пищиковой из «Русской жизни») почти сразу же освободили от физической работы: «...я по своей природе не приспособлена к физической работе, поэтому мне даже не пришлось притворяться». Имеет ли это какое-то отношение к предыдущему пассажи, мне неизвестно.

XVIII. СУГРОБ НАЧАЛ ТАЯТЬ

Подбирая в 98-ом году материалы в сборник воспоминаний о своем отце, я отбрасывал чересчур восторженные, а также невыразительные заметки. А еще не хотел я включать туда ничего такого, что содержало бы намек на нерешенную отцовскую «проблему». По этому поводу мы вновь сцепились с Карпинским, который считал, что такие материалы необходимы «для объективности».

Ценой хороших отношений с Карпинским мне удалось отстоять тот состав сборника, который я считал наилучшим. (Что касается Карпинского, то он потом отыгрался в радиопередаче по «Эху Москвы», которую я почти целиком приведу ниже.)

В то время мой подход способствовал реабилитации отца и исполнению его музыки.

Сочинения отца даже допустили на «Московскую осень», чего давно уже не было.

А по телевизору назвали его «знаковым композитором».

Короче говоря, проблема отца начала таять, как большой сугроб.

XIX. НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК

Но тут уже подоспела кульминация всей этой истории.

4-го или 5-го октября 2000 года раздался телефонный звонок; говорила Любовь Саввишна Руднева, хорошо знавшая моего отца в молодости:

– Шестого числа будет большая передача о твоём отце по «Эху Москвы». Времени передачи точно не знаю. То ли в 10 вечера, то ли в 10 утра...

Я страшно обрадовался неожиданному подарку к 80-летию отца и одновременно рассердился: «Что за безобразие, почему не предупреждают родственников!»

– В следующий раз предупреждать не буду, – отрезала Любовь Саввишна.

Я ломал себе голову: кто мог быть автором этой передачи? Видимо, это был какой-то человек незнакомый, иначе меня бы предупредили, – думал я.

И вот я не без труда разузнал, когда же эта передача на самом деле должна состояться, обзвонил ближайших родственников и знакомых, настроил приемник на 91,2 МГц, вставил в магнитофон кассету и стал ждать.

(А мать моя, Татьяна Борисовна, в это время уже неделю как находилась во Флоренции, у своей подруги Франчески Джусти-Фичи, где приходила в себя после недавнего инсульта.)

XX. ПЕРЕДАЧА

Я позволил себе придумать собственное название к услышанной мною передаче, а также добавить некоторые ремарки. Что касается реплик действующих лиц, то все они оставлены, естественно, без изменений.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО,

или

ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ТОЧКАМИ ЗРЕНИЯ

(маленькая трагедия)

Действующие лица:

Бунтман, первый зам главного редактора «Эха Москвы»,

Парин, обозреватель,

Карпинский, музыковед и контратенор

} Убежденные сальеристы

Человек
с двумя точками зрения

Время и место действия:

6 октября 2000 года, Новый Арбат, «Эхо Москвы»

<...>

Парин. В передаче «И музыка, и слово» мы сегодня слушаем цикл, или, точнее, сцену Александра Локшина «Песенки Маргариты». Исполняет Московский камерный оркестр под руководством Рудольфа Баршая, поет Людмила Соколенко, запись 1974-го года. И в передаче, кроме Сергея Бунтмана и меня, Алексея Парина, принимает участие музыковед и певец Игорь Карпинский, для которого, я думаю, не будет преувеличением сказать, музыка Локшина является частью его жизни. Поэтому, я думаю, очень правильно, что Игорь принимает участие в нашей передаче.

Карпинский. *(скромно)* Добрый вечер. Спасибо большое за такую... за такие теплые слова. Действительно, можно сказать, в каком-то смысле моя жизнь изменилась после того как я познакомился с музыкой Локшина, это было как раз вскоре после выхода пластинки с той записью, которую мы с вами слушаем, в 76-ом году.

Парин. Я думаю, что нам самое время сказать, что же это за произведение, почему оно обладает такой... таким мощным воздействием. Чем дальше мы будем его слушать, тем больше будем входить в этот мир, который нас втаскивает, который заставляет нас вслушаться не столько в эти слова, хотя литературная основа очень сильная – это перевод Пастернака, который, конечно, в известной степени переиначивает текст Гете... Но тем не менее не только и не столько литературная основа заставляет, естественно, нас слушать этот фрагмент, а это музыка. Между тем, я думаю, когда мы будем слушать это произведение, чисто трагическое, находящееся в зоне чистой трагедии, мы не должны забывать о том, что это за героиня. Кто такая Маргарита в конце 1-ой части «Фауста»? В аннотации вот к этой записи, к компакт-диску, который мы слушаем, он вышел в Америке, насколько я понимаю...

Бунтман. *(серьезно)* Да, Игорь?

Карпинский. *(скромно)* Да.

Парин. ...И там написано, что здесь Грэтхен становится рядом с Офелией и Дездемоной. Я думаю, что это очень далеко. *(продолжает с пафосом)* Потому что Грэтхен – преступница! Она сошла с ума, потому что она – преступница, потому что она, может

быть, и с холодным сердцем совершала преступление. И это, может быть, очень важно как тема для произведения Локшина.

Бунтман. *(серьезно)* И для самой музыки.

Карпинский. *(скромно)* Тема любого произведения – вещь чрезвычайно многогранная и которая не может быть отражена ни в одном высказывании ни одним человеком, как мне кажется. Чем более произведение великое, тем оно более... допускает большее количество интерпретаций. Мне кажется, что основная тема этого произведения – это страдания невинного существа. *(продолжает со значением)* Независимо от того, какова героиня Гете, Локшин, как бы, так сказать, наделяет данный персонаж собственными какими-то характеристиками. Все тексты, к которым он обращается, они, разумеется, все, ну как сказать, оборачиваются той стороной, которая для Локшина наиболее важна и, естественно, даже тот текст, который смонтирован самим Локшиным, с некоторыми даже собственными вставками поэтическими, то есть не принадлежащими ни Пастернаку, ни Гете, – вот этот текст повернут так, что вот вся ее... как бы, так сказать, история ее страданий – она раскрывается перед слушателем и... как бы... героиня, таким образом... как бы... истязая себя, она... *(смущенно смеется)* получает в сердцах слушателей прощение, как мне кажется.

Парин. Но она, вообще, не только в сердцах слушателей, героиня Гете и Пастернака, получает прощение, она получает прощение с неба. Потому что последняя фраза 1-ой части «Фауста» Гете – «Спасена!» И это очень важно. И это, конечно, важно. Но мне кажется, что этот шпагат – между преступницей и безвинной – очень важен, потому что если бы она была просто безвинной, страдалицей... – это было бы...

Бунтман. *(перебивает)* С самого начала, то есть изначально...

Парин. *(пытается продолжить свою мысль)* ...Изначально...

Бунтман. *(густым убедительным голосом)* Потому что это очень долгий и мучительный путь. Вы, Игорь, говорите, вот, через страдания, вот, к этому приходим. И вот то прощение, кото-

рое есть в тексте, есть словесное, которое приходит свыше, оно... к нему еще надо придти. И мы здесь уже начали. Мы с вами уже начали сейчас, слушая произведение, мы начали путь и очень сложный, и мучительный, как это музыкально происходит.

Парин. И мне кажется, когда мы говорим о произведении, мы сразу вспоминаем – это произведение было написано в тот год, 1974-ый, когда еще был жив Шостакович. И мне кажется, что я сразу слышу время, как человек, который в это время активно слушал музыку, время, в которое творил поздний Шостакович.

Карпинский. Шостакович чрезвычайно высоко ценил творчество Локшина. Существует документальное свидетельство о том, что он называл его музыку гениальной и присутствовал, по возможности, на всех премьерах его сочинений, сочинений Локшина. Если не мог, то просил запись. И эту запись из рук Локшина часто получала его жена Ирина Антоновна.

[Ирина Антоновна приезжала за записью только один раз. Остальное – полет фантазии этого скрупулезного исследователя.]

Парин. Думаю, самое время нам прослушать еще один фрагмент, следующий. Мы не делаем перерывов, мы подряд слушаем произведение, мы просто его разрезаем нашими разговорами. Еще один фрагмент из «Песенок Маргариты» Александра Локшина.

(следует музыкальный отрывок)

Бунтман. Вы слушаете «Эхо Москвы» – «И музыка, и слово». И мы сегодня с вами знакомимся – еще раз вслушиваемся и проникаем в произведение Александра Локшина «Песенки Маргариты». Здесь, возвращаясь вот к этому разговору о Шостаковиче и Локшине, здесь, мне кажется, что здесь есть такая сфера... *(голос немного дрожит)* такой мир, в который Шостакович не заходил. И он перед этим останавливался. И здесь вот, когда перед ним опять же приоткрылось то, что мы слышим в музыке Локшина, здесь можно только и со страхом, и восторгом это слушать. Я напоминаю, что у нас в студии принимает участие в передаче Игорь Карпинский. Игорь, вот этот уход, вот в такую вот, даже, даже я не определил бы никак это пространство словесно... *(продолжает со значением)* И вы сказали в самом нача-

ле, что здесь постоянно идет присутствие самой жизни Александра Локшина. Вот здесь вот. И очень мощно такое вот мучительное ощущение мира, которое есть.

Парин. Да, и мой тоже вопрос, так сказать, в чем выражался... Это было ли как бы внутренне присуще Александру Локшину с самого начала мировосприятие трагическое или это была вещь, которая как бы уже жизнью была углублена или даже рождена какими-то ощущениями, уже связанными с непосредственными впечатлениями?

Карпинский. Я думаю, что и то, и другое... Трагическое мироощущение было всегда присуще композитору, начиная вот с того первого сочинения, которое было исполнено в Новосибирске оркестром Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского и певицей Евгенией Вербицкой – «Жди меня», на стихи Симонова.

Парин. Какой год?

Карпинский. 43-ий год.

Бунтман. 43-ий, да?

Парин. В 21-ом году родился Локшин.

Карпинский. В 20-ом. И Соллертинский сказал, что этот день... – который там присутствовал, Соллертинский, он там вступительное слово читал... – он сказал о том, что этот день войдет в историю музыки. Что это сочинение стоит вот на том уровне, которое... так сказать... который у тех сочинений, которые там исполнялись. Там, в частности, исполнялась Шестая симфония Чайковского! И Локшин сам рассказывал, что он был настолько потрясен... этим комплиментом, если так можно выразиться, что он долгое время, почти 10 лет, вообще ничего не мог сочинять.

Парин. И к этому надо добавить, что примерно в то же время, когда была сделана вот эта запись, которую мы слушаем, то есть в середине 70-ых годов, вышел очередной том Музыкальной энциклопедии, в которой про Локшина две строчки – родился в 1920-ом году, в 41-ом, если я правильно помню, закончил Консерваторию.

Карпинский. М-да.

[Вообще-то Локшин в 41-ом году не закончил Консерваторию. В мае 41-го года, накануне государственных экзаменов, он был изгнан оттуда за свое сочинение «Цветы зла» на стихи Бодлера, который считался идеологически вредным поэтом. А в июне – записался добровольцем в ополчение, но через неделю его свалил сильнейший приступ язвенной болезни, и он был комиссован. Затем до осени 41-го года гасил зажигательные бомбы на крыше Консерватории во время авианалетов. Все это Карпинский знал, но не мог сказать, так как концепция передачи рухнула бы.]

Парин. И больше ничего. И маленький список сочинений – ни одной характеристики, никаких слов не сказано.

Карпинский. *(с воодушевлением)* Ну, к сожалению, наша печать, так сказать, можно сказать, о Локшине прославилась, вот, в частности, в Музыкальном энциклопедическом словаре имеется статья, но она вышла позже, чем этот том, о котором вы говорите. *(продолжает с ужасом)* Там указано 11 дат, в которых, значит, эти произведения написаны, из которых 8 неправильные!

Парин. *(со вздохом)* Ну все-таки, как бы, говоря о Локшине, наверно, надо сказать несколько слов о его жизни, связанной с творчеством, как целом, где он был, что он делал и каковы были все-таки вехи в его творчестве, если таковые... без них, наверно, нельзя.

Карпинский. Локшин вел такой, с моей точки зрения, достаточно такой замкнутый ригорический образ жизни. В последние годы жил вообще в полном одиночестве, в полном уединении... Как говорил его... сын, находясь в состоянии черной меланхолии.

[Я говорил: боролся с депрессией, которая была вызвана остракизмом.]

Вот, но это в последние годы. Когда я, собственно, с ним познакомился...

Парин. Уже в восьмидесятые.

Карпинский. *(устало и несколько небрежно)* В восьмидесятые я с ним познакомился. В конце 81-го года лично. Ну, вехи его творческого пути, несомненно, это после «Жди меня», то есть в 42-ой год это сочинение было написано... Дальнейшие вещи, которые можно сказать [назвать? – А.Л.] веховыми – это 3-я сим-

фония на стихи Киплинга для баритона, мужского хора и большого симфонического оркестра, которая была впервые исполнена на Би-Би-Си, мужским хором и оркестром Би-Би-Си... в 79-ом году...

[Автора симфонии съездить на ее исполнение не пустили, но Карпинский не хочет расстраивать слушателей.]

и вот то сочинение, которое мы сейчас с вами слушаем – я считаю, это такое... одно из... одна из вех его творчества.

Бунтман. *(наконец, решается)* Вы знаете, все-таки мы не можем не сказать о том, что за именем Александра Локшина тянется шлейф и разговоров, и слухов, связанных с нашей тяжелой историей. Связанных и со сталинской эпохой, и с советской эпохой, и тянется устойчивое такое «сальерическое» мнение о Локшине, что очень многим и композиторам, и музыкантам не позволяло к нему обращаться. Несмотря на определенные, очевидные и слышимые всем величайшие достоинства, здесь нельзя, скажем, переусердствовать в эпитетах, достоинства его музыки. Вот, что вы можете сказать, Игорь, об этом шлейфе, потому что это очень мучительная история, которая тянется за именем Локшина.

Карпинский. *(томно, но отчетливо)* Мне об этом было всегда известно. Я никогда об этом не говорил Александру Лазаревичу. Мы с ним общались исключительно о музыке. И вообще, я хотел бы сказать, что здесь должно быть очень четкое разделение. Выяснение его, так сказать, каких-то социальных, что ли, характеристик – это дело, видимо, определенных органов, следственных, еще каких-то, а другое дело – исследование его музыки, это...

Парин. *(осторожно подталкивает Бунтмана)* Ну, я думаю, надо прямо сказать...

Бунтман. *(мужественно)* Да, надо прямо сказать! То есть имя Локшина связывается с тем, что Локшин по мнению очень многих, и существует масса косвенных тому каких-то подтверждений, бродящих слухов, разговоров о том, что Александр Локшин сыграл не последнюю роль в судьбе некоторых людей. То есть просто, как говорят, на них доносил. *(внезапно меняет*

интонацию на более мягкую) Это опровергается очень многими и родственниками Локшина. И тому есть и контрсвидетельства, и контрдокументы. Существует эта мучительная история, которую просто нельзя обойти словами – *(говорит бескомпромиссным голосом)* – а то получится, что мы нечто скрываем и хотим как-то и обелить.

[Повеяло чем-то до боли знакомым. Революционным правосудием?]

Но здесь, по-моему, речь идет совершенно о другом, мне кажется. Как вы считаете, Игорь?

Карпинский. *(с благодарностью за поставленный вопрос)* Вы знаете, ну по крайней мере, когда я говорил с теми людьми, которых... которые подозревали Локшина в том, что он пишет на них доносы... Я говорил с этими людьми, и довольно со многими. *(воодушевляется)* Я могу даже, так сказать, сосчитать по пальцам, со сколькими я говорил и о каких конкретно я слышал... Ну, понимаете, это должны быть...

Парин. Как о жертвах его.

Карпинский. Так сказать, о жертвах. Да. Вот, поскольку я не могу утверждать, что это жертвы, то скажу: «так сказать, о жертвах». Вот. И, естественно, я считаю, что эти люди должны, так сказать, я обязан о них говорить уважительно, потому что это люди, они, конечно, должны свои какие-то, так сказать, соображения высказывать, так сказать, в соответствии с другими какими-то фактами. *(стесняется назвать эти факты; сейчас они сильно помешали бы)* То есть какая-то одна точка зрения здесь невозможна. Что вот я жертва – и все...

Парин. Я думаю, что здесь еще есть, кроме того, что, по-видимому, должно быть какое-то действительно разбирательство или расследование частное, не-частное, здесь, наверно, еще встает вопрос о том, действительно, справедливо ли соединение в оценке определенного композитора, определенного вообще деятеля культуры, когда мы соединяем его социальное лицо с его художественным. И наверно, время здесь, вообще-то, работает против такого соединения, потому что имя Сальери прозвучало... И Сальери – действительно композитор, которого долго отверга-

ли именно как композитора. Сегодня, наоборот, привлекается к нему внимание... потому что это был композитор все-таки... ну все-таки очень высокого ранга.

Бунтман. *(великодушно и со знанием дела)* Ну, во-первых, Локшин лучше, чем Сальери.

[Бедный Сальери! Как известно, отравителем Моцарта его считают по недоразумению.]

Все хором. Да, давайте сразу, это мы, это да... *(смеются)*

Парин. Это мы слышим, конечно.

Бунтман. Это гораздо более значительная фигура. Мне кажется, что здесь нужно поставить очень такое жирное многоточие... Потому что жизнь Александра Локшина, мне кажется, требует серьезнейшего исследования. Серьезнейшего подбора документов, где можно было бы четко сказать о жизни его и социальной жизни, жизни человека. Насколько справедливы обвинения? Насколько правомерна та защита, на которую встают... э... у...

[Я не издеваюсь, так на пленке.]

те люди, которые...

Парин. Я думаю, что необходима просто большая книга о Локшине.

Бунтман. Вот именно.

Парин. Которая бы соединила это... Которая бы расследовала, исследовала это...

Бунтман. *(проникновенно)* Но в данном случае перед нами, и в этой передаче в частности, я думаю, что и Игорь, и Алеша вот с этим согласятся, что перед нами несомненный факт есть музыки. Музыка замечательной. Музыка, в которую мы в течение всей передачи продолжаем вникать. Есть вот этот факт. И именно о нем мы и говорим. Конечно, он наполнен очень многим изнутри и личным. Но здесь я все-таки бы не ограничивался ... и внутренней биографией. У человека есть метафизическая биография. И она и была... И вот, не зря, Игорь, вы сказали, что и то, и то. И изначальное трагическое ощущение мира, и еще которое было подтверждено и биографией, и ощущением собственной жизни.

Парин. Я думаю, что нам самое время послушать фрагмент, еще один фрагмент из сцены из «Фауста» Гете, «Песенки Маргариты» Александра Локшина. Музыка, которую мы можем назвать гениальной.

(следует музыкальный отрывок)

<...>

XXI. РАЗГОВОРЫ С БУНТМАНОМ

Передача потрясла меня. Я не спал три ночи. У меня подскочило давление. Впрочем, я человек вполне здоровый. А у моей матери был инсульт годичной давности.

И Карпинский знал об этом. Понимал ли он, что находился в двух шагах от убийства и только случайно промахнулся?

Что касается Бунтмана, то он мог об инсульте и не знать. А мог и знать – ведь его первая жена, Надя, – бывшая аспирантка моей матери. Я позвонил Наде и сказал:

– Ваш Сережа сошел с ума.

Она ответила:

– Не я была музой этой передачи. Главное – это здоровье Татьяны Борисовны. Ни в коем случае ничего ей не рассказывайте!

Тогда я начал звонить на «Эхо Москвы» и оставлять свой телефон, в надежде, что Бунтман мне перезвонит. Но ничего подобного не происходило. Домашнего его телефона у меня не было. Я понял, что, действуя таким образом, ничего не добьюсь. Тогда я позвонил его матери, Елене Петровне, и сказал робким просительным голосом:

– У меня нет к Сереже никаких злых чувств и я у него ничего не прошу. Мне только нужно кое-что ему рассказать и мне нужно, чтобы он приехал ко мне домой. Пусть он не боится, что разговор будет на повышенных тонах.

И я оставил свой телефон.

Через два часа Бунтман позвонил и сказал красивым убедительным голосом:

– Я очень люблю музыку вашего отца. Когда мне только приоткрылась музыка Локшина, я сразу же стал вслушиваться в

нее со страхом и восторгом. Слушая эту музыку, одновременно оказываешься во всех точках пространства трагедии...

Я попробовал перебить его:

– Но...

– Но, – продолжал Бунтман, – когда я сказал у нас на «Эхе», что собираюсь сделать передачу о вашем отце, тут поднялось такое фыркание! Вы же знаете нашу интеллигенцию.

Определенно, он давал мне понять, что совершил благодеяние.

Видимо, он считал меня еще бóльшим идиотом, чем я есть на самом деле. И все же он пообещал приехать ко мне для разговора. Перед тем как приехать, он должен был еще раз позвонить.

И вот, спустя три дня, раздался второй звонок.

– Вы знаете, Саша, сегодня я не смогу к вам приехать. Вы просто не представляете, как я загружен. Приезжайте лучше вы к нам на «Эхо». Мы спокойно там устроимся, поговорим у меня в кабинете, – сказал Бунтман.

– Ну, раз вы сегодня не можете, давайте отложим, – сказал я.

– Ну зачем же откладывать. Хотелось бы поскорее.

Тут я наконец обнаружил свою истинную сущность.

– Понимаете, Сережа, – сказал я, – вы ведь оскорбили меня. Я просто не могу к вам приехать.

– Ах, вот оно что, – сказал Бунтман красивым многозначительным голосом, впервые понимая, с каким, в сущности, подонком имеет дело. – А скажите, Саша, вы сами слышали передачу или вам кто-то о ней рассказывал?

– Не только слышал, но и записал. Потом распечатал и всем раздаю, – сказал я.

Мне показалось, что Бунтман чем-то недоволен.

– Ну, тогда суд, – сказал он.

– Пожалуйста, – сказал я.

– Ах, так вы хотите суд! – воскликнул он.

– Сережа, вы же сами сказали про суд, – ответил я.

О том, что произошло дальше, знаем только я да он. Ну, возможно, еще несколько близких нам людей.

Потом моя мать, Татьяна Борисовна, ездила к его матери, Елене Петровне, замечательной доброй женщине, тоже больной, и они вместе, кажется, плакали. При расставании Елена Петровна сказала моей матери:

– Танечка, зачем ты всему этому придаешь какое-то значение? Подумаешь, прозвучало по радио – на следующий день все забыли. А если – суд, у Сережи на работе могут быть неприятности...¹

XXII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕДАЧИ

Последствия передачи были не только разрушительные, но и неожиданные. Некоторые знакомые стали опасливо сторониться. Телефон вообще замолчал на две недели. На работе участливо осведомлялись, как я себя чувствую.

– Хорошо, – отвечал я.

– Хорошо, да?!

Сжалился над нами только Артем Варгафтик из того же «Эха». Он заступился за моего отца, поскольку по молодости лет не знал, какая это страшная сила – общественное мнение, и как опасно с этим мнением спорить. Насколько я понимаю, благородный поступок Артема стоил ему места работы. Излишне, наверное говорить, что я благодарен ему по гроб жизни.

И вот, мое печальное повествование почти что подошло к своему концу. Но мне нужно еще рассказать об одном важном событии.

XXIII. РАЗГОВОР С С.С. ВИЛЕНСКИМ

В конце 2000-го года, уже после бунтмановской передачи, у меня был разговор с Семеном Самуиловичем Виленским, председателем историко-литературного общества «Возвращение», которое объединяет бывших узников ГУЛАГа и нацистских концлагерей. (Сам С.С. Виленский прошел Колымские лагеря.)

¹ Суд не состоялся, т.к. выяснилось, что у нас свобода слова и ничего особенного в передаче произнесено не было.

За меня и моего умершего отца ему поручился Никита Николаевич Заболоцкий, сын поэта и сам бывший репрессированный. Поэтому С.С. Виленский разговаривал со мной без тени подозрения в мой адрес и обещал подумать, как можно вернуть моему отцу доброе имя. При этом он заметил, что в системе НКВД-КГБ существовали специальные отделы дезинформации, и это обстоятельство могло сильно затруднить расследование.

Тогда я не предполагал, что пройдет полтора года и С.С. Виленский, став на сторону моего отца, преодолеет совершенно невероятные препятствия и добьется исполнения отцовского Реквиема на IV конференции «Сопротивление в ГУЛАГе». Но до этого концерта, состоявшегося 29 мая 2002-го года под управлением Рудольфа Баршая, еще надо было дожить.

XXIV. ИСТОРИЯ «МАРГАРИТЫ»

А теперь я хочу сказать два слова о том, как возникли «Песенки Маргариты».

Как-то раз весной, страдая от бессонницы, мой отец вышел прогуляться. Было раннее утро, и улица была пустынна. Тут он увидел молодую пьяную женщину совершенно исключительной красоты, которая в разорванном платье шла ему навстречу. Его поразило выражение смеси отчаяния и отрешенности на ее лице.

Когда он вернулся домой, то открыл первую часть «Фауста» в пастернаковском переводе и начал читать. Он так и не смог оторваться, пока не дочитал до конца.

А потом сел сочинять свою «Маргариту».

Кстати, эту семейную историю Карпинскому тоже рассказывали.

Сочиняя, отец так сильно концентрировался, что казалось, будто вся комната пронизана магнитными силовыми линиями. Мне в этой комнате ни над чем сосредоточиться уже не удавалось.

Время от времени он начинал сражаться с пастернаковскими текстами, если они не соответствовали его музыкальным требованиям. Бывало, что и меня звал себе на помощь.

И если получалось так, как ему было надо, радовался.

Т.Б. Алисова-Локшина

Арест и освобождение Алика Вольпина

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, математик, поэт и правозащитник, для меня всегда был и останется Аликом Вольпиным, с которым я познакомилась в Ашхабаде, куда были эвакуированы во время войны некоторые факультеты Московского университета. Потом, уже в Москве, он часто бывал у нас дома, и мы с ним много гуляли по Тверскому бульвару. Он пытался мне объяснять принципы квантовой механики и теории относительности (по правде говоря, это было не по адресу), читал наизусть по-французски стихи Верлена и Бодлера и свои собственные, из которых мне врезались в память на всю жизнь некоторые строчки.

Открыв для себя такого небанального человека, я перезнакомила его со своими друзьями, в том числе и с двумя композиторами – Шурой Локшиным (который, как и Алик, восхищался Эдгаром По и Бодлером) и его приятелем Мишей Мееровичем. Они тоже водили его за собой по знакомым и по ресторанам и, бывая в подпитии, перелезали через заборы, ходили по крышам каких-то сараев и что-то декламировали, весьма для того времени рискованное.

Это был 1949-й год – год борьбы с космополитизмом и формализмом. Оба композитора по этой причине были изгнаны из Консерватории и зарабатывали на жизнь (надо сказать, по тем временам совсем неплохо) игрой в четыре руки на самых разнообразных площадках и сочинением музыки для кинохроники. Новые друзья, по-видимому, Алику нравились. А летом 1949-го года его арестовали.

О том, что Алик Вольпин сильно изменил свое отношение к кругу наших общих музыкальных знакомств, я узнала из его письма, присланного уже из ссылки, в котором он мне советовал не водиться больше с «этой музыкантской шантрапой». К тому времени я была уже женой Шуры Локшина; я показала ему это письмо.

Чего-то подобного мы уже ждали. Дело в том, что после ареста Алика и Прохоровой в НКВД в качестве свидетелей были вызваны два композитора (бывшие постоянными посетителями дома Локшиных), а также мать Шуры – Мария Борисовна и его сестра Муся. Мусю дважды привозили в НКВД из санатория, где она приходила в себя после тяжелой операции – ей удалили несколько ребер и одно легкое, пораженное туберкулезом. Только со второго раза, после угрозы, что арестуют ее брата, если она не подтвердит «антисоветские высказывания Прохоровой», она сдалась. Той же угрозой заставили подписаться под протоколами мою свекровь.

Но ни Шуру, ни меня в НКВД не вызывали. В сценарии, сочиненном на Лубянке, Шуре готовилась совсем иная роль – роль прикрытия для стукача.

Наверняка после моего рассказа многие осудят Шурину мать и его сестру. Поэтому я должна добавить следующее. В 1948-ом году (как раз в то время, когда его отчислили из Консерватории) Шуре вырезали, в связи с сильно обострившейся язвой, две трети желудка. Об этом у нас сохранилась справка. Между прочим, М.В. Юдина тоже упоминает об этом факте в одном из своих писем (см. Приложение 2). Мать и сестра Шуры понимали, что если бы Шуру арестовали, он умер бы в тюрьме очень скоро.

Но вернусь к своему рассказу об Алике. Когда Алик освободился в 1953-ем году, он пришел к нам в дом без предварительного звонка и с порога бросил Шуре в лицо: «Сколько тебе заплатили за то, что ты меня предал?» Шура ответил очень спокойно: «Я тебя не предавал». Алик привел неопровержимый, с его точки зрения, довод: «Ведь мне же на допросе предъявили мои стихи. А я прекрасно помню, как ты их записывал, пока я читал, и переспрашивал, если не успевал». Тогда Шура взял из тумбы стола стихи Алика и сказал: «Вот они, забирай и больше никогда здесь не показывайся». Я все это время стояла как столб и держала сына на руках.

На следующий день, когда Шура куда-то ушел, я позвонила Алику Вольпину и попросила разрешения зайти к нему домой.

Мне казалось, что если я ему объясню, что Шура по своей природе не способен на подлость, они с Шурой помирятся и все уладится. Он встретил меня с хитрой улыбкой и на все мои доводы отвечал, что я – заинтересованное лицо и мои объяснения не являются доказательством Шуриной невиновности. Он приводил еще предъявленное ему слово «блевотина», сказанное им в адрес советской власти, которое мог слышать только Шура, стоявший близко от него в тот момент, и даже рисовал мне на клочке бумаги, кто где тогда стоял. И я ушла с тяжелым сердцем, понимая, что я потеряла навсегда доверие человека, мне и Шуре не безразличного.

Вскоре после этого Шура встретил у нас во дворе Алика, который, как показалось Шуре, его караулил. Между ними произошло бурное объяснение, в ходе которого Алик задавал ему прокурорские вопросы, среди них и такой: «Откуда же у тебя были деньги, чтобы ходить по ресторанам, ведь ты же тогда нигде не работал?» И Шура в ответ обругал его последними словами.

Вернувшись домой, Шура рассказал мне об этой сцене. А потом, помолчав, добавил: «Но вот, что странно. Я действительно слышал от Алика некоторые слова из числа тех, которые ему предъявили на следствии. Не понимаю, откуда *они* могли это узнать!»

Февраль 2001

Т.Б. Алисова-Локшина Юдина и Локшин

Мария Вениаминовна Юдина сыграла огромную роль в судьбе моего мужа. В этом коротком приложении невозможно рассказать всю историю их взаимоотношений, и я остановлюсь лишь на нескольких моментах, которые считаю самыми важными.

М.В. Юдина и Шура познакомились в композиторском Доме творчества «Сортавала» в августе 1949 года (они оказались соседями в одном коттедже). Вот как Юдина описывает свои первые впечатления от знакомства с Шурой в письме к Е.Ф. Гнесиной от 13.08.49:

« <...> Неожиданно моими спутниками в Сортавала оказались два молодых композитора и теоретика – М. Меерович и А. Локшин. Я о них много слышала, об их больших познаниях и замечательном ансамбле в 4 руки от разных превосходных музыкантов – но реально увиденное мною превзошло все мои предположения. Так как трудно говорить о двух лицах сразу, то я сперва напишу о Локшине. Это несомненно человек гениальный; в чем? Да во всем; в сочинениях, кои я пока почти не знаю, но по «почерку» видно – *что это*; по уму, а я видала, дорогая Елена Фабиановна, умнейших людей нашей эпохи и беседовала с ними; по эрудиции; по скромности; по артистизму...

Не привлечь его к нам, в Ваш Институт – это значит пройти мимо громадного явления, его не понять и не оценить. Ему все легко в искусстве, как – в другом смысле – Моцарту – в этом громадная сила и тайна его воздействия; могу вообразить, как его будут боготворить студенты – надо же дать им побольше поэзии, у них, увы, слишком много прозы...

Что он может делать? *Абсолютно все*: теорию, гармонию, инструментовку, сочинение, партитурное чтение, музыкальную литературу, наконец – ансамбль. На *любом факультете*. Лет ему пока 29 отроду и может он занять пока скромное положение ассистента. Никакого «клейма» на нем нет, он был в консервато-

рии, потом был просто — режим экономии, сокращение, — и Свешников с Орвидом ведь вообще никого не знают, не любят и не ценят. Приглашение его пройдет, я уверена, абсолютно благополучно. Сведения еще о нем: ученик Мяковского, кончил в 44 г. и работал ассистентом; еврей; человек чрезвычайно серьезно больной (живет с кусочком желудка всего...) и мужественно и весело свою болезнь несущий, но это ведь и должно вызывать внимание к нему... И, м. б. благодаря этому также человек особенно сверкающего темперамента <...>»¹

Самоотверженные попытки Марии Вениаминовны устроить Шуру на работу так ни к чему и не привели, но это не помешало их дружескому общению.

В Москве Шура и М.В. Юдина жили в тот год в одном квартале на Беговой улице; вернувшись из Сортавалы, они продолжали общаться почти ежедневно. Шура делал для нее фортепьянные переложения инструментальных сочинений Брамса, Баха, а она их играла на своих концертах в Малом зале. (Ноты этих переложений, к сожалению, потерялись, и, несмотря на все наши усилия, найти их пока не удалось).

Это общение продолжилось и потом, когда мы с Шурой поженились. Надо сказать, что Юдина все время старалась помогать Шуре в его обычной, немusыкальной жизни. Расскажу лишь об одном таком эпизоде. В августе 1951 года, когда у нас с Шурой родился сын, мы оказались в скверной ситуации, так как у Шуриной сестры Муси была открытая форма туберкулеза. Юдина, узнав об этом, переселила Мусю жить к себе, а сама переехала жить к знакомым; Муся жила у Юдиной до тех пор, пока лекарства не подействовали и туберкулезные палочки не перестали выделяться.

В начале пятидесятых Юдина часто бывала у нас, дарила Шуре ноты, книги. При этом меня и нашего с Шурой ребенка она игнорировала, считая, видимо, нас существами, не заслуживающими внимания. Я же смотрела на нее как на небожительницу, боясь сказать лишнее слово.

¹ «Мария Юдина. Лучи божественной любви». М.—СПб, 1999, с. 428.

Обычно во время этих встреч Юдина играла Шуре, а он ее критиковал, порой безжалостно. Помню еще, что Шура занимался с ней чтением партитур Малера. А иногда они вместе играли в четыре руки.

И так продолжалось до 1956-го года, когда между ними произошел внезапный разрыв: теперь, случайно сталкиваясь на концертах, они старались не замечать друг друга. Многочисленные письма М.В. Юдиной, скопившиеся у Шуры за шесть лет их дружбы, он уничтожил. Причиной всему этому послужила, видимо, встреча Марии Вениаминовны с Верой Прохоровой. О том, что такая встреча имела место, я узнала много позже, когда прочла письмо Пастернака к Юдиной от 30 августа 1956 г., опубликованное А.М. Кузнецовым¹. В этом письме Пастернак рекомендует Юдиной Прохорову как прекрасного человека, заслуживающего доверия, и просит Юдину встретиться с ней.

Довольно долго я думала, что после 1956-го года Шура и Мария Вениаминовна больше не встречались. Однако это было не так, как видно из следующего письма М.В. Юдиной от 28.02.61, адресованного ее ленинградскому другу, историку книги В.С. Люблинскому²:

«Теперь должна Вам сообщить нечто величественное, трагическое, радостное и до известной степени тайное. *Слушайте*: я написала письмецо – «профессионально-деловое» по одному вопросу в связи с Малером – Шуре Л[окшину], который его знает, как никто. В ответ он написал мне, что очень просит меня повидаться с ним. Я согласилась. Вчера он сыграл мне свой «Реквием», который он писал много лет, вернее «подступал к нему» и бросал и наконец «одним духом» написал его два с половиной года тому назад. *На полный текст такового, полнее Моцарта*. Что я сказала ему, когда он кончил играть? – «Я всегда знала, что вы гений».

Да, это так и это сильнее многих, из-за кого я «ломаю копья» и равно (теперь) только Ш[остакови]чу (не последнему...)

¹ «Мария Юдина. Лучи божественной любви». М.–СПб, 1999, с. 337.

² «Звезда», 1999, № 9, с. 175–176.

и Стр[авинско]му. *Сыграно это сочинение быть не может ни у нас, ни не у нас, что понятно...* Это – как Бах, Моцарт, Малер, и эти двое. Он совершенно спокоен зная, что это так и что оно не будет исполнено. Ш[остакови]ч теперь просто боготворит его. Знают об этом немногие. Я прошу сказать только Биме; А[лександра] Дм[итриевна] далека от музыки, с моей точки зрения, она ей, видимо, *не необходима* и этим все и сказано; ибо искусство чуждо «прохладному» отношению. Это не «вина», а факт, *люди и их строй – и должны быть разными.*

М[ожет] б[ыть] и никому не надо говорить. – Я рада, что человек осуществил свою задачу, не зря живет на свете, что я не ошиблась, веря в него, и не ошиблась, помогая ему в обычной жизни, и была ему другом в тяжелые дни и часы.

Вот как. Не сердитесь. Не болейте. Сердечно кланяюсь. Не сердитесь. – М В»

Последние фразы письма отсылают, видимо, к какому-то спору, возникшему у Юдиной с ее адресатом по поводу Шуры. Нетрудно догадаться, о чем был этот спор. Видно также, что Юдина не приняла точку зрения своего оппонента.

Больше Мария Вениаминовна и Шура, насколько мне известно, никогда не встречались. Общение этих людей было разрушено.

Однако фигура Юдиной вновь возникла перед нами из этого письма, когда А. М. Кузнецов передал нам в 96-ом году его копию. Это письмо вывело нас из оцепенения. Мы стали собирать другие письма, а также воспоминания о Шуре и издали их в конце концов в виде небольшой книжки¹.

2001–2004

¹ «О композиторе Александре Локшине», М.: Диалог-МГУ, 1998.

меня и писать с ним. Я соглашался. Когда он написал мне
 свои "Генералы" которые он писал много лет, я все, "наступая"
 к нему и писал и наконец "одним духом" написал всю эту
 книгу. На починил текст Чехова, написал мочарт. Это я
 сказала ему, когда он говорил писать? Я была рада, что
 вы пишете. — Да, это так и это самое много, не-
 бо я "мало" пишу и равно (Чехов) только ш-т (не
 пишу...), и сф-му. Смотрию это и пишу
 бы то же самое. Ми жид, ми не жид,
 что похотю... Это как как,
 мочарт, мапер, и др.

звезды он совершенно спокоен. Знаю, что это так и что же
 можно. Ш. Я. Чехов просто добродушный. Знаю от этого каково
 же. Я пишу, сказать только было; А. Д. Чехов от музыки, слыш
 точки зрения, она ей видимо, не совсем хороша я это все и ка-
 жно, до и с себя пишу, продолжаю "относительно". Это не видно
 а факт, моды и их сф-от — и другие быть разными. —
 м. и многою не надо говорить. — Я рад, что Чехов осу-
 ществит свои замыслы, не зря живет на свете, что же
 он делает, пера в перо и не останавливая, по-
 мого ему в обычных жизни и др.
 ему, другим в жизни и др.
 так, — вот как.
 не совсем так.
 и др.

Фрагменты письма М.В. Юдиной В.С. Люблинскому
 от 28 февраля 1961 года. (Оригинал в музее им. Глинки,
 ф. 439, ед. хр. 69, л. 3 и 3 об.)

Письмо А.Б. Ботниковой о Вольпине

А.Б. Ботникова – А.А. Локшину

Воронеж, 4 января 2002 г.

Дорогой Шурик! Спасибо тебе большое за новую книжку. Думаю, что <...> впоследствии, когда уйдут основные «действующие лица» твоей книги, о твоём отце будут судить по его музыке, а не по сплетням. Твоя правда возьмет верх. Для меня, по крайней мере, это абсолютно несомненно. <...>

Хочу поделиться с тобой некоторыми своими воспоминаниями. Может, они тебе в чем-то помогут. Я еще в прошлый раз собиралась написать тебе об этом, но решила, что напишу твоей маме. И не сделала этого. Сейчас пишу вам обоим.

Суть в следующем. Твой отец познакомился с Аликом Вольпиным 12 мая 1949 года, как и со мной, впрочем. Это был так называемый «всеобщий день рождения». В этот день родились Алик, я и мой первый муж Руф Хлодовский. В течение нескольких лет мы праздновали этот день вместе. На сей раз – у меня дома. Алик привел с собой девочку по имени Вава, с которой только недавно познакомился (после его ареста ее сослали, позже она вышла замуж за литератора-диссидента Айхенвальда). Твоя мама пришла с Шурой и с молодой особой, у которой брала уроки <...>ского языка. Особу звали Зина [имя изменено. – А.Л.].

Компания получилась пестрая. Хорошо знали друг друга только твоя мама, Алик, Руф и я. Еды, помнится, было мало, а кто-то принес тогда только что появившийся в магазинах и новый для всех ром. Опьянели изрядно. Алик читал стихи. Среди них одно совершенно непристойное (про «Луйку»), Шура громогласно объявлял, что ему отрезали три четверти желудка и все норovil, задрав рубаху, показать присутствующим оставшуюся часть или шов от операции. Словом, сборище получилось малоприятным. Помню, как я просила Руфа увести всех «погулять». Что он и сделал.

Во дворе нашего маленького московского двухэтажного домика (сохранившегося еще во время пожара 1812 года) еще пошумели, лазили зачем-то на крышу, потом разошлись. Когда они удалялись, я слышала, как Алик кричал: «Да здравствует свобода слова!»¹ Говорил ли Алик в тот вечер что-то крамольное, не помню. Возможно. [Именно в этот вечер, по дороге с «всеобщего дня рождения», Вольпин произнес роковое слово «блевотина». – А.Л.] А потом, еще до моего отъезда в Воронеж (до 27-го августа), мы узнали, что Алик, уехавший в Черновцы (поближе к Западу), арестован.

Даже сейчас не могу спокойно думать о кошмаре тех дней. Мы тоже ждали ареста. Перед этим у меня были договоренности об устройстве на работу в Москве (мне очень не хотелось уезжать оттуда). В издательстве иностранной литературы я уже заполнила анкету и мне назначили зарплату. Звали меня еще в ТАСС и в радиокомитет. Потом посыпались отказы. Один за другим. Пришлось поехать по распределению. Позже я, сопоставив события, склонна была объяснять это дружбой с Аликом.

Приехав однажды из Воронежа, я узнала от твоей мамы, что она получила от него письмо из ссылки, где он советовал ей не увлекаться музыкой и <...>ским языком. К тому времени мама твоя уже вышла замуж за твоего отца, была в нем абсолютно уверена, и мы решили, что доносчиком была Зина.

Кстати, Алик отнюдь не исключал ее участия в своей судьбе. После его возвращения из ссылки я виделась с ним только один раз. Было это, как мне кажется, в январе 1954-го года (а может быть, 55-го). Мы, помнится, встречали старый новый год. Алик рассказывал, как на допросе следователь интересовался его стихами и даже спрашивал, какой смысл он вкладывал в слова: «Да придет же термидор!» (кажется, из «Ворона»). Подивились еще, что следователь знал про «термидор». Потом Алик сказал, что его спрашивали, кто такие «Руф и Алла». На это он якобы ответил, что Руф – очень скрытный человек, а Алла – женщина.

¹ Еще более поразительный эпизод, характеризующий Вольпина как экстремально неосторожного человека, описан в книге О. Адамовой-Слиозберг «Путь» (М.: Возвращение, 2002, с. 188–189). Текст Слиозберг укрепил меня в мысли о том, что за Вольпиным было установлено наружное наблюдение. – А.Л.

Т.е. Зину, по-видимому, исключить из дела нельзя. Я никогда не знала ее фамилии. И, прочитав твою первую книгу, подумала сначала, что <...> и есть эта Зина. Сейчас поняла, что ошибалась. Вблизи твоего отца, по-видимому, работал не один стукач.

Вот, Шурик, на этом кончаю. Может быть, мое письмо заставит твою маму вспомнить еще что-нибудь. Конечно, это дела давно минувших дней, но они в нас еще живы. Еще раз спасибо тебе за твой труд. Он нужен не только тебе.

Будь здоров. Береги маму.

Твоя А.Б.

Письмо Б.И. Тищенко о Реквиеме и о Шостаковиче

Б.И. Тищенко – А.А. Локшину

Дорогой Саша!

Получил Вашу книгу «Гений зла» [имеется в виду первое издание – А.Л.] <...>.

Я всегда любил Александра Лазаревича, его музыку и никогда не верил слухам. Хочу еще раз вспомнить, как мы с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем пришли на исполнение «Реквиема» А.Л. в зал им. Чайковского (латинские слова были заменены на слова, наспех написанные <...> и посвященные жертвам войны) и Д.Д. оглядел полупустой зал и сказал: «Неужели на восьмимиллионную Москву не нашлось восьмисот человек, чтобы послушать гениальную музыку Локшина?» Потом я случайно встретил в троллейбусе Наташу Гутман и рассказал ей этот эпизод, и она сказала: «И правильно, что не ходят». – «Почему это!?» – «Потому, что...», тут она замялась и не помню в каких словах пересказала мне один из слухов. Я резко возразил и сразу почувствовал, откуда ветер дует, а между нами с Наташей сразу произошло отчуждение. А Дмитрий Дмитриевич в этом смысле был очень проницательным и чутким человеком. Как-то я сказал ему, что иногда захожу к человеку, очень подкованному в истории и теории музыки, чтобы пополнить свой интеллектуальный багаж. Д.Д. замялся и, подумав, сказал: «Я на Вашем месте не стал бы водиться с человеком, который служит в органах». Именно этого человека я называть не буду, так как он давно уехал за границу и там скончался. Но Д.Д. в таких делах, мне кажется, никогда не ошибался.

<...> Что касается NN, то, как говорится в одной литературной эпиграмме, «... горе здесь не от ума». Кроме того, есть русская поговорка относительно того, кто «... опаснее врага». Его беда (не вина) в том, что он хочет при незнании истины казаться человеком осведомленным.

Вчера (14.V) я провёл в Консерватории ещё одно занятие по Александру Лазаревичу Локшину и показал студентам «Песенки Маргариты». Впечатление было шоковым. Утром, когда я готовился к этому уроку, я переслушал старую пластинку, некогда подаренную Вами, и чуть не разрыдался. На уроке я демонстрировал CD, подаренный мне недавно Рудольфом Борисовичем Баршаем. Ещё на этом же уроке я показал 7-ую симфонию Александра Лазаревича, записанную на этом же диске, с партитурой, подаренной автором с дарственной надписью. Музыка Локшина будет звучать у нас и впредь.<...>

Ваш Борис Тищенко

15 мая 2001 г.

СПб

P.S. Сердечный привет Татьяне Борисовне!

Искусствоведение в штатском

В июне 2001-го года, когда первое издание «Гения зла» было уже напечатано, в Москву из Баден-Бадена ненадолго приехала Инна Львовна Кушнерова, мать Лены. Мы созвонились и договорились о встрече, назначили день и час. Я должен был приехать к Инне Львовне, привезти ей книжку и рассказать кое-что про свои (довольно удивительные) приключения. Инне Львовне всё это было интересно, – ведь она знала моего отца с очень давних пор. В 1944-ом году она присутствовала на госэкзамене, который моему отцу разрешили сдавать благодаря ходатайству Мяковского, а потом училась у моего отца в Консерватории.

Инна Львовна много лет уже не была в Москве, и тем для разговоров накопилось предостаточно. И вот, во время нашей оживленной беседы, раздался звонок¹, и незнакомый мужской голос попросил к телефону Александра Лазаревича. (Напомню читателю, что Александром Лазаревичем звали моего отца. Это весьма редкое сочетание имени и отчества; я, во всяком случае, такого имени-отчества больше ни у кого не встречал.)

– Здесь такие не живут, – ответила Инна Львовна, немного изменившись в лице.

Теперь я должен, – чтобы всё стало ещё более ясно, – сказать две вещи.

Первое. *К моменту этого телефонного звонка мой отец уже четырнадцать лет как умер.*

Второе. *Телефон, так поразительно вовремя зазвонивший, никогда не имел никакого отношения к нашей семье. Это был телефон московской квартиры Инны Львовны.*

Я понял, что телефонный звонок предназначался лично мне и представлял собой какое-то предостережение или угрозу. Ну, а

¹ Звонок раздался примерно через 10 секунд после того, как Инна Львовна спросила меня – кто же, по моему мнению, виновен в арестах, а я ответил ей (назвал имя).

кроме того, этот звонок означал, что меня элементарно «пасли» некие заинтересованные лица. Первое издание «Гения зла» явно кому-то не понравилось.

Признаюсь, что я испугался. И за себя, и за Инну Львовну. Потом, когда первый испуг прошел, мне стало интересно, – понимал ли явно перестаравшийся организатор звонка, какую густую коричневую тень отбрасывает он на *всех* недоброжелателей моего отца?

* * *

Прочтя эти строки, недоверчивый читатель с повышенно трезвым складом ума, наверное, скажет: «А все-таки тот звонок, когда попросили к телефону Александра Лазаревича, мог быть случайностью, простым совпадением. А у автора – в силу его нервного состояния – развилась на этой почве небольшая мания преследования».

Ты прав, читатель! Звонок – совпадение, а у меня – мания преследования.

Все это так.

Но вот еще один эпизод (конец лета 2001-го года). В самый разгар бурного семейного разговора, происходившего далеко за полночь (а разговор касался, между прочим, «Гения зла»), зазвонил телефон. «Алло!» – сказал я несколько раз, но не услышал никакого ответа. Через 10 минут звонок повторился, и опять на мои возгласы никто не откликнулся. Еще через 10 минут звонок раздался снова. На этот раз я молча прикрыл трубку рукой, чтобы не было слышно, как я дышу, а сам стал вслушиваться в телефонные шорохи. Молчание тянулось минуты две. А потом произошло нечто невообразимое. Незнакомый мужской голос забормotal: «Ну вот, ну надо же... По-моему, они сами нас сейчас пишут...» И в трубке загудело.

Сентябрь 2001

Свидетельство, извлеченное из небытия
(Давид Самойлов о Локшине)

Я хочу написать о том немногом, что нас связывало с Ирэнной Орловой (1942–2018). Замечательной и неповторимой. О том, как мы познакомились с ней в 2015 году, она прекрасно написала сама в «Этажах» (с этого начинается ее Интервью о моем отце). Я нещадно эксплуатировал ее, показывая свои разнообразные опусы во всевозможных жанрах, в том числе свои дилетантские рисунки. Все, что она писала мне в ответ, было исключительно точно по смыслу; наверно, ей был дан от природы более тонко настроенный камертон, чем тот, которым обладал я. Прислать ей черновик своей статьи «Искусство против мастерства» я не успел...

Сейчас я перечитываю нашу переписку, и отсутствие ее самой на этом свете кажется мне скверным сном.

Вот фрагмент из начала моей переписки с Ирэнной Орловой.

Irena Orlov to Aleksandr Lokshin,
7 Aug 2015, 23:19

Дорогой Александр Александрович!
Спасибо Вам огромное!

Почему-то именно сегодня весь мой день прошел с музыкой Вашего отца, хотя его музыку я немного знала еще живая в СССР, в Ленинграде.

Я живу в городе Вашингтоне, преподаю рояль. У меня есть очень талантливые ученики, которые почтут за честь играть эту музыку.

Когда-то в Москве я дружила с Толей Якобсоном, который, как я понимаю, преподавал литературу в школе, в которой Вы учились. В то время он очень переживал за Вас из-за неприятных слухов о Вашем отце.

Бедный Толя потом уехал в Израиль, где и покончил жизнь самоубийством. Его психика была абсолютно подорвана.

Позже, когда я приехала в Иерусалим и начала работать музыкальным терапевтом в псих. больнице, я читала его «дело». Ужас!

А где живете Вы? Напишите, если можно, о себе.

Еще раз, огромное спасибо!

Всего Вам доброго!

Ирэна Орлова.

Aleksandr Lokshin to Irena Orlov,

7 Aug 2015, 23:42

Здравствуйте, Ирэна! Вот это неожиданность! Мне так не хватало живого Якобсона, чтобы объяснить ему то, что я теперь знаю (а тогда не знал). Что касается меня, то я живу в Москве, никуда не езжу. Почти ни с кем не общаюсь. За последние 25 лет удалось собрать достаточно материалов, чтобы сплетня о моем отце рассыпалась в прах. Издал две книжки: «Гений зла» (4-е издание, 2004) и «Музыкант в Зазеркалье» (3-е издание, 2013). Еще издал книжку писем и воспоминаний разных людей «Локшин – композитор и педагог». Все это есть здесь:

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LOKSHIN_Aleksandr_Aleksandrovich/_Lokshin_A.A..html

Всего Вам самого доброго!

Александр

Irena Orlov to Aleksandr Lokshin,

8 Aug 2015, 00:08

Дорогой Александр Александрович!

Я еще хотела Вам рассказать, что я познакомилась с Толей в доме у моей приятельницы (почти родственницы) Нонны Дру-ян, которая дружила с Дзэиком (Давидом) Самойловым. И вот на

одной из вечеринок, когда Толя, страстно приводя аргументы своей [бывшей] жены Майи, говорил об этом, Давид Самойлов сказал: «Я этим слухам не верю, их распускают сами стукачи, посмотрите на прекрасное лицо Шуры». Эта фраза мне запомнилась. Я хотела Вас спросить, дружил ли Александр Лазаревич с Давидом Самойловым?

И Вам всего доброго! Как странно переплетаются нити судьбы!

Ирэна

PS Я не знаю, знакомо ли Вам имя Генриха Орлова, музыковеда, который уехал из Союза в 76 году? Я вышла за него замуж в 1983 году. Он очень ценил музыку Александра Лазаревича. Слухам не верил.

Aleksandr Lokshin to Irena Orlov,

8 Aug 2015, 00:32

Дорогая Ирэна! Нет, мой отец не был знаком с Давидом Самойловым и даже не знал его стихов. Ваше письмо, честно говоря, потрясло меня. Это замечательное свидетельство. Я хотел бы оба Ваши письма опубликовать в Интернете. Как Вы на это смотрите? (Если Вам это кажется неуместным, я пойму и не обиюсь)

Александр

P.S. Имя Генриха Орлова мне, к сожалению, незнакомо...

Эти четыре письма положили начало моему знакомству (хочется сказать – дружбе) с замечательной Ирэнной Орловой. По моей просьбе слова Давида Самойлова о моем отце, обращенные к Якобсону, были опубликованы в «Этажах» (перед Интервью о моем отце).

Тем не менее, некоторое беспокойство меня не отпускало. Для того чтобы назвать моего отца «Шурой» и решительно вступить за него, требовалось личное знакомство. Но никаких следов личного знакомства моего отца с Д. Самойловым не обнаруживалось. Ирэну это, впрочем, не особенно беспокоило.

– Вы же учились во второй школе в свое время? – спросила она меня как-то раз. – А у Самойлова там тоже учился кто-то из родственников... Вот на родительском собрании они и познакомились! [Цитирую по памяти, передаю смысл. – А.Л.]

– Мои родители ни разу не были ни на одном родительском собрании, – ответил я ей.

Но с чего бы вдруг Самойлов стал защищать незнакомого ему человека, называть его «Шурой»?

Загадка разрешилась случайно. Из книги воспоминаний Самойлова «Перебирая наши даты» я узнал, что его другом был Борис Чайковский, учившийся композиции у Н.Я. Мясковского (как и мой отец), а также у Шостаковича.

Это придает свидетельству Ирэны совершенно другой вес...

18 янв. 2020

«БЫТЬ МОЖЕТ ВЫЖИВУ»

События 1948–49-го годов сыграли слишком большую роль в дальнейшей судьбе моего отца, чтобы я мог умолчать о том, что узнал от него самого, от других людей и из некоторых сохранившихся документов.

В мае 48-го года у отца случился сильнейший приступ язвенной болезни; его сразу же положили в Институт Склифосовского. В то время резекция желудка считалась рискованным делом и вероятность неблагоприятного исхода была велика. Однако обезболивающие уже не помогали, поэтому отец решился на операцию.

28 мая его оперировал известный хирург С.С. Юдин. Отец был крайне истощен, а после операции настолько ослаб, что в течение нескольких суток буквально не мог пошевелиться. Это и спасло его – послеоперационные швы успели срастись. Физически намного более крепкий военный, которого оперировал тот же хирург и тоже по поводу язвы желудка, умер на соседней койке (на глазах у моего отца), так как не смог нужное время лежать неподвижно и послеоперационные швы разошлись.

15 июня 48-го года отца выписали из больницы, а 26 августа – уволили из Консерватории в ходе кампании по борьбе с формализмом; ему снова припомнили его несостоявшуюся дипломную работу «Цветы зла» на стихи Бодлера, из-за которой его уже отчисляли с пятого курса Консерватории в мае 41-го года¹. Наверняка сыграл свою роль и «пятый пункт», борьба с космополитизмом уже начиналась.

Теперь перейду к событиям иного рода.

21 июля 1949-го года в Черновцах «органы» арестовали А.С. Есенина-Вольпина², который был к моменту своего ареста знаком с моим отцом примерно в течение двух месяцев.

Еще до ареста Вольпина отец вычислил стукача в своем ближайшем окружении, и в беседе с ним с глазу на глаз неосто-

¹ См. интервью с И.А. Барсовой в сборнике «Оркестр»; М., 2002, с. 17.

² См. Есенин-Вольпин А.С. Избранное. М., 1999, с. 9.

рожно вывел его на чистую воду, заставил признаться. Стукач потребовал от отца молчания, угрожая, в случае невыполнения своего требования, пересажать всю отцовскую семью. Свои угрозы стукач сопровождал словами: «Я не человек, я труп». Все это я узнал от своего отца, когда мне было 15 лет. Имени стукача отец никогда не называл мне, вероятно, опасаясь за меня. (Но в тот же вечер это имя назвала мне моя мать.) У меня есть основания полагать, что это столкновение произошло весной 49 г. Судя по всему, столкновение отца со стукачом не обошлось без последствий. Об этом свидетельствует другое письмо моего отца, которое он написал И.Л. Кушнеровой спустя два месяца – 19 ноября 1949-го года. Я процитирую здесь это письмо почти целиком, сохраняя орфографию и пунктуацию:

«Внешне дела у меня без видимых изменений. Внутренне же повидимому должно уже что то сдвинуться с места, хотя я сам это ещё не ощутил. Вероятно в понедельник я впервые услышу хоровую репетицию. Оркестровые назначены на 27 ноября. Первое (и вероятно последнее) исполнение назначено на 30 ноября. Дирижер Гаук, солисты Янко и Лисициан. Впрочем солисты под сомнением, я их еще не видел.

Состояние у меня по-прежнему скверное, даже еще хуже.

Есть у меня предчувствие, что я на грани и если в ближайшие дни ее благополучно миную, то буду с тобой, если же нет, то прощай навеки. У меня так называемый распад нервных тканей (клеток) Молись за меня. Быть может выживу»¹.

Уверен, что выделенные мною строки письма написаны эзоповым языком и повествуют не о послеоперационном осложнении, а об ожидании ареста в ближайшие дни. (В сталинские времена было бы безумием писать об этом прямо.) Моя уверенность основана на том, что ни в предыдущем письме к И.Л. Кушнеровой (от 14 ноября 49 г.), ни в последующем (от 24 ноября 49 г.) отец не пишет о своем здоровье ни слова. Впоследствии И.Л. Кушнерова согласилась с моей интерпретацией процитиро-

¹ Оригинал письма хранится в Баден-Бадене (Германия), в личном архиве И.Л. Кушнеровой.

ванного письма. Она вспомнила, что когда получила его, сразу подумала, что мой отец боится ареста.

* * *

С.С. Виленский так комментировал мне это письмо: *«Вашему отцу, видимо, предлагали сотрудничать, причем он интересовал “органы” как человек, вокруг которого собиралось интеллектуальное общество. Однако он, человек независимый и гордый, отказался, да так, что они почувствовали себя уязвленными, оскорбленными. То, что впоследствии по делу Веры Ивановны Прохоровой вызывали на очную ставку с ней его мать и тяжело больную сестру – месть “органов”».*

* * *

Теперь – о сочинении, упомянутом в отцовском письме. Это сочинение – «Приветственная кантата» на стихи, написанные поэтом Островым и посвященные Сталину.

Предыстория появления на свет этого сочинения вкратце такова. После столкновения со стукачом, случившегося, как я полагаю, весной 49-го года, положение отца было весьма шатким. Изгнанный из Консерватории, он воспринял известие об аресте Вольпина¹ как грозное предупреждение. Чувствуя, что может быть следующим, в первых числах сентября отец начинает писать свою «Приветственную кантату», с тем чтобы представить ее на приближавшийся композиторский пленум. В конце сентября отец, работая, как всегда, профессионально, заканчивает писать партитуру кантаты; примерно тогда же он узнает, что музыкальный идеолог Апостолов опубликовал в восьмом² номере «Советской музыки» зловеще-анекдотическую статью, в которой центральное место занимает разнос другого отцовского сочинения (см. Приложение 3).

¹ Это известие было получено отцом в августе 49 г. (устное сообщение М.А. Мееровича).

² Этот номер был подписан в печать 3 сентября 49 г.

Перипетии, предшествовавшие исполнению «Приветственной кантаты», довольно подробно описаны в отцовских письмах этого периода (см. Приложение 1). 30 ноября 1949-го года «Приветственная кантата» была исполнена на Третьем пленуме¹ Правления Союза советских композиторов, на котором в общей сложности исполнялись сочинения более чем 150 авторов, в том числе и «Песнь о лесах» Шостаковича.

А седьмого декабря 49-го года Хренников, выступивший на пленуме с весьма оптимистическим отчетным докладом, оценил произведение Локшина следующим образом:

«Однако, у нас нет никаких оснований успокаиваться на достигнутом. Даже в ряде лучших сочинений, исполненных на пленуме, есть немало недостатков и противоречий, не дающих возможности еще признать их полноценным выражением нашей действительности. В других произведениях, о которых я еще не говорил, эти недостатки и противоречия выражены еще нагляднее. В ряде случаев, как я уже отметил выше, мы можем говорить и о ПРЯМЫХ НЕУДАЧАХ, ТВОРЧЕСКИХ СРЫВАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. УМЕСТЕН ВОПРОС – КАКИМ ОБРАЗОМ ПОПАЛИ ТАКИЕ СОЧИНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНЦЕРТОВ ПЛЕНУМА?² Здесь я должен принять вину на Секретариат и на себя лично за то, что в предварительном ознакомлении со множеством сочинений для отбора на пленум мы допустили ряд ошибок, не сумев в исполнении за фортепиано сделать правильную оценку качества некоторых произведений. Так, для исполнения на пленуме была отобрана «Приветственная кантата» композитора Локшина, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ХОЛОДНОЕ И ЛОЖНОЕ³ ПО СВОИМ МУЗЫКАЛЬНЫМ ОБРАЗАМ, КРАЙНЕ СУМБУРНОЕ,

¹ Чтобы дать читателю представление об атмосфере, царившей на пленуме и вокруг него, процитирую М. Чулаки: «Наибольшие успехи достигнуты композиторами в истекшем году в создании ораторий и кантат.<...> Подавляющее большинство ораторий и кантат обращено к товарищу Сталину, с именем которого советский народ связывает всю свою жизнь, борьбу, свой созидательный труд» («Культура и жизнь», 31 декабря 1949 г.).

² Здесь и далее текст выделен мной.

³ Это – политическое обвинение.

ШУМНОЕ И БЕСПОМОЩНОЕ. Автор не отнесся с должной ответственностью к теме своего сочинения, не произвел предварительной глубокой работы над отбором музыкальных средств, над определением стиля сочинения, над организацией материала»¹.

Других политических обвинений в обширном, обстоятельном докладе Хренникова не содержалось. Казалось, что над моим отцом нависла угроза исключения из Союза композиторов; этим неприятности могли не ограничиться...

Однако слово взял благородный и чрезвычайно умный человек – Михаил Фабианович Гнесин, уже слышавший о Локшине как о талантливом композиторе от М.В. Юдиной. Вот отрывок из речи Гнесина, произнесенной им во время прений по хренниковскому докладу. Начал Гнесин издалека:

«<...>Теперь я хочу сказать несколько слов о докладе Тихона Николаевича. Я сомневаюсь, что<бы> кто-нибудь из нас хотел попасть в положение Тихона Николаевича Хренникова. Читать подобный доклад, содержащий калькуляцию ценностей, предлагавшихся на Пленуме, это – страшно трудно. Кроме того, тут, действительно, полного согласия никогда не может быть. На каком-нибудь сочинении могут тогда разойтись суждения, и не стоит тогда придирается по тем характеристикам, которые показали недостаточно <сходящимися> с твоим мнением.

Но, все-таки, я хотел бы коснуться некоторых моментов в этом докладе. Я считаю очень рискованным такое покаянное упоминание об ошибках Секретариата. До меня тов. Анисимов, в сущности, коснулся уже этого вопроса. Такого рода упоминания об ошибках сейчас же наводят на мысль. Если по ошибке пропустили такие-то не очень удачные вещи, то, может быть, большое количество вещей не допустили на Пленум, которые несколько не хуже, а может быть, и лучше показанных. И я считаю, что, может быть, было бы справедливо, чтоб если были на просмотре в Секретариате такие хорошие вещи, которые по тем или иным

¹ См. стенограмму Третьего пленума Союза композиторов (РГАЛИ, ф. 2077, оп. I, ед. хр.325, л. 19–20). В сокращенном виде, но с сохранением основного обвинения, этот фрагмент выступления Хренникова опубликован в его же статье «За новый подъем советской музыки» (Сов. музыка, 1949, № 12, с. 50).

причинам не оказалось возможным показать на Пленуме, то о них следовало упомянуть в докладе. Ведь это гордость, что были еще хорошие произведения, в которых были такие-то достоинства. Но то же самое, говоря о вещах, которые не оправдали себя в концертном показе, непременно следовало упомянуть о достоинствах, из-за которых эти вещи были приняты и пропущены. НЕЛЬЗЯ ЖЕ ИЗОБРАЖАТЬ СЕБЯ НЕПОМНЯЩИМИ ЛЮДЬМИ. ВЫ СЛУШАЛИ ВЕЩИ, ВЫ ИХ ОЧЕНЬ ХВАЛИЛИ. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. ТАК ВЫ ИХ ЗА ЧТО-НИБУДЬ ДА ХВАЛИЛИ!

Значит, в них есть высокое качество. Не может быть, чтобы в них не было их качеств. И это, несомненно, так и есть. Я в данном случае говорю о кантате Локшина. Можно иметь какое угодно суждение о ней. Но ее очень хвалили, когда она была показана в Секретариате. Предположим, что после этого она бы с треском провалилась, освистана была всем собранием. И то, в сущности, вы должны были бы искать причины этому – а может быть, ее еще раз исполнить, тем более, что исполнена она была совершенно неудовлетворительно и показана в неблагоприятных условиях. Но она вовсе не была освистана. Она очень многим понравилась. Я не хочу сказать, что это и было, может быть, лучшее произведение, которое вы недооценили. Совсем нет. Но в нем есть отличные качества – хорошие темы. Тематически материал является очень хорошим по качеству. Полифоническое мастерство тоже есть. Может быть, там есть просчеты в оркестровке. Но ведь вы слушали с партитурой. Люди слушали, видели, что там есть недоработки, могли посоветовать что-нибудь.

Должен сказать, что я Локшина видел всего два раза в жизни и слышал, что он человек высоко талантливый и отнюдь не слабый в оркестровке. Какие-то были недостатки, но были и большие достоинства. Мне кажется, что справедливо было <бы> отметить и недостатки, и достоинства, а не так жестко¹ характеризовать вещь, точно, ей Богу, композитор ввел в невыгодную

¹ Я цитирую текст стенограммы, в который были внесены правки рукой М.Ф. Гнесина (РГАЛИ, ф. 2077, оп. I, ед. хр. 329(1), л. 59–62). До внесения правки вместо «жестко» было «жестоко» (РГАЛИ, ф. 2077, оп. I, ед. хр. 327, л. 59–62).

сделку Секретариат. Секретариат оказался виновным в том, что он пропустил такую-то вещь! Вы вещь слушали, одобрили, в ней были достоинства и недостатки, следовало отметить и то, и другое. Иначе это несправедливо.

Я представляю себе – сам я написал какую-то вещь, мне после этого опыта неудобно ее показывать в Секретариате. Если меня побранят – пожалуйста, если похвалят – приятно, но ЕСЛИ ПОХВАЛЯТ, А ПОТОМ ПУБЛИЧНО ЗАЯВЯТ, ЧТО ЭТА ВЕЩЬ НЕ ТОЛЬКО ПЛОХАЯ, НО ЧТО ЭТО СТРАШНАЯ ОШИБКА, ЧТО ЕЕ ПРОПУСТИЛИ – ЭТО, ПРОСТИТЕ, НЕ ТОВАРИЩЕСКИЙ ПОДХОД. МНЕ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ НЕ ЗАХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ СВОИ ВЕЩИ.

Вот, в сущности, то, что я хотел сказать. Уже достаточно было сказано, что мы не можем освоить всех проблем, и я не берусь этого делать». (Аплодисменты.)

В отчете о пленуме (Сов. музыка, 1950, № 1, с. 49–50) дается только краткий пересказ выступления Гнесина, причем делается редакционная приписка: «Однако попытка <предпринятая Гнесиным> защитить от критики это неудачное произведение <«Приветственную кантату» Локшина> оказалась в целом малоубедительной».

До самого последнего времени я считал, что как раз страшное выступление Гнесина, не побоявшегося столкнуть Хренникова с самим собой, уберегло моего отца от самых скверных последствий, которые могло иметь хренниковское политическое обвинение.

Однако все оказалось еще интереснее. Анжелика Огарева, хорошо знавшая Хренникова и его жену, рассказала мне, что именно Хренников попросил Гнесина выступить в защиту Локшина.

У меня нет оснований сомневаться в достоверности этого удивительного рассказа Анжелики Огаревой. Только в результате ее комментария стала просматриваться логика событий.

Логика эта заключается, на мой взгляд, в следующем. И Хренников, и Гнесин выступали по чужому, предписанному им

сценарию. Локшина следовало основательно припугнуть, но не доводить дело до массовой погромной истерии на пленуме. Это было вполне контролируемое из «тайных сфер» действо. Локшин должен был быть оклеветан, а не посажен.

Теперь – о немедленно наступивших последствиях. Конечно, заступничество Гнесина принесло свои плоды. Хотя в Резолюции пленума «Приветственная кантата» осуждается еще два раза (!), но уже заодно с сочинением другого автора (Левитина), тон осуждения мягче и, что самое главное, нет политических обвинений¹. Затем Мариан Коваль продолжает добивать сочинение моего отца, имитируя профессиональный анализ:² «Петь кантату А. Локшина мучительно трудно. Хор в напряженном регистре, маловыразительный по мелодии, выпевает нехудожественный текст. Композитор сосредоточил свои помыслы на внешней помпезности, без глубокого ощущения полнокровных народных чувств, обращенных к Сталину». Политические претензии плавно трансформируются в профессиональные. Система отползает, обдумывая, что ей делать с Локшиным дальше...

Теперь, по заведенному обычаю, Локшину следовало каяться. Однако мой отец не каялся³. И после того как Т. Ливанова сочла необходимым обругать его еще раз за все ту же «Приветственную кантату»⁴, упоминания о нем в «Советской музыке» надолго исчезают. Сочинения его отклоняются, и даже временную работу в Москве не удается найти, приходится ехать в Ленинград⁵. Там моему отцу по рекомендации Р.С. Бунина удалось

¹ Сов. музыка, 1950, № 1, с. 55.

² Там же, с. 8.

³ Я утверждаю это потому, что отчеты о покаяниях регулярно публиковались в «Советской музыке». Что значило *не каяться* в сталинские времена, я думаю, объяснять не надо.

⁴ Сов. музыка, 1950, № 3, с. 15.

⁵ См. сборник «О композиторе Александре Локшине», М., 1998, с. 72–73, где цитируется письмо М.В. Юдиной от 29 августа 1950 г. Интересное свидетельство о том, какое участие принимал мой отец в музыкальной жизни того времени, содержится в эссе Л.С. Рудневой «О доверии Дмитрия Шостаковича и Капричос, разыгранных его «ответственными» коллегами в достопамятном 1951 году...» (Академические тетради, 1997, вып. 3, с. 154–156).

получить временную редакторскую работу. (Спустя примерно два года двоюродная сестра моего отца Х.А. Локшина и ее муж Э.П. Гарин познакомили его с известными режиссерами того времени – Завадским, Кулиджановым, Сегелем, Згуриди, Карменом. Сочиняя музыку к их фильмам и спектаклям, мой отец мог содержать семью.)

* * *

Наконец, я хочу сказать одну простую вещь. То, что против моего отца была выставлена когорта: Апостолов, Хренников, Коваль, Ливанова – казалось бы, решает «проблему». Ведь их статьи были напечатаны не *до*, а вскоре *после* ареста Вольпина. И на пленуме Хренников предъявил политическое обвинение *только* Локшину и больше никому – *фактически именно мой отец был избран в качестве основного антигероя в пропагандистской музыкальной кампании 49-го года*. Тем не менее, это простое сообщение почему-то никому не приходило в голову.

Как же вышло, что в своей предыдущей повести об отце я не упомянул об этой истории, случившейся на Третьем пленуме и (на мой взгляд) недвусмысленно оправдывающей отца, являющейся долгожданным алиби? Ответ очень прост. Отец ничего мне об этом не рассказывал. Он возвышался над сплетней и не простил бы мне, если бы решил, что мне необходимы какие-то аргументы и доводы, чтобы поверить ему.

Одиннадцать писем моего отца
И.Л. Кушнеровой (Рабинович)

В этом приложении я привожу наиболее характерные отрывки из одиннадцати писем моего отца, адресованных его ученице И.Л. Кушнеровой (в чьем архиве хранятся оригиналы этих писем).

Письмо первое (19 сентября 49 г.)

«Время уходит, сгинул еще год¹ и, недолго, будет достигнута середина жизненного пути. По Данте – это тридцать пять лет. Впрочем, если суждено ее достигнуть.

Сегодня соберутся гости, все – твои знакомые, ситуация почти такая же как и всегда, и, тем не менее, будет несколько грустнее, чем обычно.

Все дни начиная с твоего отъезда <т.е. с первых чисел сентября 49 г.> я прилежно тружусь, написал уже 97 страниц партитуры <«Приветственной кантаты»>, так что осталось лишь каких-нибудь 70–80 страниц.

Настроение у меня мерзкое, хуже чем раньше намного. <...>

В Москву приехал Володя Неклюдов, который в Новосибирске был организован *трупом* [здесь и далее курсив мой – А.Л.] с феерическим блеском. *Труп вернулся и собирается восстановить нормальные отношения со мной.* Князь приобрел себе белый плащ и теперь ни дать ни взять – Петроний Арбитр. Одев плащ, он, вероятно, с успехом заменяет меня.

Филипп Эммануил² изгнан из сердца *трупа* и от огорчения заболел, очевидно, брюшным тифом. Валяется на диване как бездомная собака, грязный, без белья, покрытый старым пальтишком. Муся целыми днями состоит при нем, кормит, поит и наоборот. Женщины безумно любят, когда болеют их привязанности. Есть возможность проявить себя».

¹ 19 сентября – день рождения моего отца.

² «Филипп Эммануил Бах» – прозвище, данное моим отцом Ф.М. Гершковичу, историку и теоретику западной музыки, учившемуся в Вене у Альбана Берга. Что касается *трупа*, то он, судя по всему, был женского пола.

Письмо второе (28 сентября 49 г.)

«Только лишь вчера окончил писать партитуру <«Приветственной кантаты»> – 138 страниц – и начал репетиции с певцами. Устал от писания и чрезмерной кондовости.

1 октября буду проигрывать на Секретариате.

Случилась неприятность. В журнале «С<оветская> М<узыка>» № 8 появилась статья Апостолова, в которой центральное место уделено моей <Алтайской> сюите. Нет сомнений, что сюита теперь сыграна не будет, а договор будет расторгнут. Итак, судьба моя на этот год зависит от кантаты».

Письмо третье (13 октября 49 г.)

«Наконец состоялись мои прослушивания, и я кое-как начинаю дышать. Первое было на Секретариате – прошло благополучно. Второе – в комитете¹ – прошло плохо. Было сказано что-то насчет бояр, князей и палки, а адресат по их мнению – не при чем. Третье, решительное, было в Радиокомитете. Присутствовали из всех трех учреждений. Обсуждение длилось около двух часов и отличалось большим количеством метаморфоз во взглядах на предмет обсуждения в зависимости от положения предыдущего оратора на иерархической лестнице. Мощная защита была со стороны Чулаки и Баласаняна. Было решено, что кантата есть нечто единственное в своем роде, и предложено немедленно переменить текст. Некто Гринберг занимается сейчас подыскиванием невольника чести, способного создать достойные кантаты стихи. В течение полутора месяцев я сидел за столом и писал партитуры, сначала кантату, а потом инструментовал для кино и сейчас совершенно обессилен».

Письмо четвертое (24 октября 49 г.)

«Мои дела таковы: кантата после многочисленных обсуждений наконец принята. Написан новый текст поэтом Островым. Этот текст значительно хуже прежнего, но комиссия нашла его отличным».

¹ В Комитете по делам искусств.

Письмо пятое (28 октября 49 г.)

«В последний месяц я совсем отбился от собственных рук – прослушивания, эпопея с поэтом (кстати, стихи его оказались не намного хуже прежних) и вся прочая суета в корне перековали мой душевный уклад. Не без ужаса заметил я, что становлюсь суетным, и в случае успеха кантаты (весьма сомнительного) преуспею и в суетности. *Очевидно, ничто мне сейчас так не требуется, как только полный неуспех, и лишь этой ценой я смог бы сохранить в себе то, что составляет и оправдывает смысл моего пребывания*» [курсив мой – А.Л.].

Письмо шестое (10 ноября 49 г.)

«Завтра, вероятно, я смогу получить оркестровые партии. Когда я, наконец, овладею своей партитурой, я смогу встретиться с Гауком и поиграть ему. Тогда и выяснится, будет ли он дирижировать. Дело осложняется весьма некрасивым поведением Горчакова, который заявляет всеуслышание, что я обещал ему кантату, чего я никогда не делал, но на что Горчаков меня неоднократно грубо провоцировал».

Письмо седьмое (14 ноября 49 г.)

«Завтра в одиннадцать часов состоится встреча с Гауком и решится, надеюсь, вопрос с дирижером. Партии я получил и уже половину откорректировал. Пальто мне сшили. Шубу Мусе не купили. Погода плохая. Водку не пью. С девицами не общаюсь. Настроение скверное».

Письмо восьмое (19 ноября 49 г.)

(Отрывок из этого письма я уже приводил в основном тексте. – А.Л.) [Сейчас мне представляется очевидным, что между этим отцовским письмом (*«У меня так называемый распад нервных тканей (клеток). Молись за меня. Быть может выживу.»*) и неожиданным разгромом его Кантаты (начало декабря 49 г.) есть непосредственная связь. Думаю, что письму предшествовал вызов в «органы», где, собственно, и решался вопрос – можно ли давать отцу Сталинскую премию. – А.Л.]

Письмо девятое (24 ноября 49 г.)

«Вчера и сегодня были сводные репетиции хора, на которых я присутствовал. Звучит хор изрядно. Первая оркестровая репетиция должна состояться 28 <ноября>. Солистов, певцов своей печали, я еще в глаза не видел. Вся эта координация мне дается с трудом, вернее, совсем не дается. Слишком много координируемых элементов вокруг оси координат». [Ольга Ведерникова писала мне в свое время о том, как она, ее муж Толя Ведерников и мой отец сидели на репетиции отцовской Кантаты, причем Ведерников с ехидством уверял отца, что слышит в Кантате малеровские интонации, а мой отец страшно сердился.— А.Л.]

Письмо десятое (2 декабря 49 г.)

«Итак, кантата сыграна. Причем сыграна предельно скверно. Сплошное фортиссимо, неверные темпы и фальшь. Сыграна последним номером по требованию Гаука, хотя в программе шла первым номером. Так что получилось: после танцев — торжественная часть. Тем не менее, мне пришлось галантно раскланяться с публикой и оркестром и даже пожать руки своим могильщикам во главе с Гауком».

Письмо одиннадцатое (13 декабря 49 г.)

«Итак, испытания кончились. Все случилось примерно так, как я себе и представлял. В событиях подобного рода самую большую роль играют пересечения разных человеческих путей. Пленум стал ареной битв и игрищем страстей. Произошло массовое столкновение честолюбий. Сочинение мое было выдвинуто на премию, но, немедленно, по требованию Захарова и Коваля, *вершителей судеб* [курсив мой — А.Л.] задвинуто обратно. В Секретариате произошел раскол. Чулаки был вынужден уехать из Москвы на все время обсуждений. С моим сочинением можно было поступить лишь двояко: либо превознести, либо уничтожить, ибо это диктуется темой сочинения — другого быть не могло. Естественно, что превознести, что сопряжено с массой

почестей, да к тому же именно меня, Секретариат не захотел; не захотел потому, что не хотел ускорять свою гибель. Потому, сочинение мое в докладе Хренникова и в резолюции (а также в газетах) было названо ложным, неискренним, холодным, сумбурным и т.д. Впрочем, в прениях было сказано и противоположное, например Гнесиным, но это особой роли не сыграло. Итак, путь закрыт. Надолго ли – не знаю».

Письмо моего отца Н.Я. Мясковскому

Работая в Российском государственном архиве литературы и искусства над документами Третьего композиторского пленума, я случайно натолкнулся на неизвестное письмо моего отца своему учителю, относящееся к более раннему периоду. На мой взгляд, это письмо представляет определенный интерес в связи с описываемыми мною событиями, и я решил привести его здесь.

А.Л. Локшин – Н.Я. Мясковскому

4 августа 43 г.

Дорогой Николай Яковлевич!

Зимой написал я симфоническую поэму «Жди меня» для голоса и оркестра. При моем пристрастии ко всему исключительному, сочинение музыки к такому заурядному стихотворению было задачей исключительно трудной, особенно, если принять во внимание то, что вся музыкальная атмосфера, толстым слоем окутавшая это стихотворение, была наполнена смрадными испарениями многочисленных дельцов от музыки, накинувших на эти стихи с целью совершить выгодную спекуляцию на лучших чувствах. Словом, и автор, и слушатели были хорошо подготовлены.

Быть может, только при высокой температуре чувства выявляют свою сущность. Крайности приводят к откровениям. Психологи утверждают, что душа человеческая в моменты крайнего нервного напряжения обладает способностью проникновения, граничащего с ясновидением. Если не ошибаюсь, то то же и в физике: предметы под сильным давлением начинают светиться, при сильном нагревании меняют свою молекулярную структуру. Так же и в области человеческих отношений: только в периоды больших общественных или личных потрясений обнажается сущность человека, до тех пор скрытая за толстым слоем благо-

получия. Одним словом, если вы хотите испытать истину, то заставьте ее покувыркаться на краю пропасти. Может быть, такое отношение к материалу и спасло меня на этот раз. 22 апреля состоялось первое исполнение в Лен<инградской> филармонии. Соллертинский произнес страстный вступительный монолог. Исполняли: Мравинский, Вержбицкая, большой состав оркестра с арфой и челестой. Впервые сочинял я музыку, ни с кем не советуясь, никому не показывая, не имея даже никакой моральной поддержки. Я поступал как дикарь, как наивный первобытный мистик: вопрошая портрет моего учителя (помните, когда-то Вы подарили мне его), когда меня одолевали сомнения, и портрет очень чутко реагировал, иногда хмурился, иногда улыбался. Важно было не чувствовать себя одиноким. Возможно, это просто особенность лица, снятого *en face*: где бы вы ни находились, вам кажется, что глаза портрета устремлены на вас.

С трепетом душевным пришел я на первую репетицию, вооружившись большим красным карандашом, предчувствуя неизбежные изменения в партитуре. Но карандаш оказался ненужным. Ни одна нота не была изменена.

Вам я обязан всем. Я позволяю себе не благодарить Вас только потому, что хочу эту благодарность носить всегда с собой.

Я очень хотел бы вернуться в Москву с тем чтобы заниматься у Вас в аспирантуре на фортепианном факультете, но до сих пор я вынужден был отвергнуть все варианты самостоятельного возвращения. Причина простая: я не хочу возвращаться с черного хода. Приехать без приглашения, без вызова из Консерватории или ССК и затем молить уважаемых руководящих товарищей о предоставлении мне минимальных условий для существования, — это выше моих скромных жизненных возможностей, тем более, если принять во внимание то, что в настоящее время грелка играет существеннейшую роль в моей духовной и физической жизни, то становится ясным, что я вынужден был бы просить целый ряд бытовых благ, что для человека, приехавшего без приглашения, равносильно напрашиванию на целый ряд оскорблений. Ведь меня в Москве знают лишь как студента со скандальной репутацией.

Есть два выхода. Ждать, когда Консерватория вспомнит обо мне и вызовет меня для сдачи государственных экзаменов. Но два года, дарованные мне для осознания своих ошибок, уже прошли, а Консерватория все еще молчит. Мало того, Директор Консерватории даже не удостоил меня ответом на мои два письма, в которых я извещал его о своей готовности предстать пред грозными очами своих инквизиторов. В этот выход я почти не верю. Другой выход – это поездка в Москву с Мравинским, он собирается поставить там «Жди меня». Быть может, тогда я смог бы получить диплом и поступить в аспирантуру.

Что будет дальше – не знаю. Жизнь раскрыла пасть и смердит отчаянно. Правда, если придерживаться мудрого изречения Протагора, утверждавшего, что «человек есть мера всех вещей», и признать, согласно этому тезису, за эталон, например, Мурадели или Хренникова, то можно придти к выводу, что жизнь прекрасна, что жить стоит и чем больше – тем лучше. Простите меня за многословие. После двухгодичного молчания я чувствую себя способным говорить целый световой год без антрактов.

Питаю надежду получить от Вас несколько строк. Сейчас два слова, написанных Вами, были бы для меня ценнее девяти симфоний Бетховена.

Ваш верный ученик
А. Локшин

Только что узнал о награждении Вас орденом. Поздравляю Вас от всей души.

Новосибирск, 3-д им. Чкалова, Соцгород, каменный дом 6, кв. 16¹.

¹ Оригинал в РГАЛИ, ф. 2040, оп. 2, ед. хр. 176, л. 1–2.

Отрывок из статьи Апостолова

Ниже я привожу отрывок из статьи Апостолова «О некоторых принципах музыкальной критики» (Сов. музыка, 1949, № 8, с.11-12). Его пространная статья направлена в первую очередь против моего отца (хотя этот факт и не сразу бросается в глаза). Мне хочется обратить внимание читателя на очень интересное употребление слова «ложный» (дважды встречающегося в приводимом мною отрывке). Похоже, что этот эпитет представляет собой знак, которым помечают *чужого*. Спустя три месяца после опубликования статьи Апостолова этим же термином – уничтожая Локшина – воспользуется Хренников на Третьем композиторском пленуме.

Необычайно интересно также употребление Павлом Апостоловым слов «грехи» и «индальгенция» применительно к моему отцу. Все это, безусловно, материал для лингвиста и психолога.

« <...> Небезинтересно привести и другой пример: обсуждение на собрании той же секции¹ «Алтайской сюиты» для симфонического оркестра композитора А. Локшина. Казалось бы, программный замысел, навеянный народным эпосом о битвах и богатырских подвигах, должен был вдохновить композитора на создание яркого монументального произведения в мужественном характере «былинного» повествования.

Но композитор решил задачу совсем в ином, искусственно надуманном плане. Сюита состоит из шести оркестровых миниатюр общей длительностью не более 20 минут. Неоправданный миниатюризм, противоречащий эпическому сюжету, фрагментарность формы, модернистический язык, копирующий красочную звукопись импрессионистов – все это свидетельствовало о явном разрыве между народно-эпическим сюжетом и его музы-

¹ Имеется в виду секция симфонической и камерной музыки в Союзе композиторов.

кальным воплощением. Сама программность оказалась претворенной весьма условно. Цельная фабула распалась на отдельные, по существу, бессюжетные картинки-кадры.

Изломанные интонационные ходы, нагромождение пряных диссонансов, вычурность и искусственность образов, всё это, казалось бы, с полной очевидностью говорило об ошибочном художественном замысле автора, о ложном стремлении решить народно-эпическую тему в экзотическом, эстетски-импрессионистском плане. Слушатели сюиты были явно озадачены, и автор вынужден был проиграть произведение вторично.

Итак, А. Локшин не сумел решить взятую им народную тему в духе социалистического реализма. Автор выступил не как воинствующий публицист, проповедующий художественными средствами прогрессивную идею народности, но как эстет, любующийся «экзотической оригинальностью» фольклорных образцов.

Однако обмен мнений о сюите, игнорируя принципиальную постановку вопроса, показал слабость нашей критики и дезориентировал заблуждающегося композитора. Аполитичность, теоретическая беспомощность, формально-эстетский подход проявились в ряде выступлений. Композитору приписывались «тонкий вкус», «влюбленность в звуки» и «необычайная талантливость». Восторженным перечислением этих личных качеств автора выступавшие товарищи подменили научно-эстетический анализ программного содержания и его музыкального воплощения. Врожденная талантливость как бы окупала все грехи автора; ему все прощалось во имя этого завидного качества, превращающегося в некую индульгенцию.

Ссылки на талантливость того или иного автора, уводящие от конкретного анализа его музыки, довольно часты в музыкальной среде. Но что такое талантливость? Может ли быть талантливым произведение, в котором нарушен основной закон музыкально-прекрасного: отсутствует «полное согласие идей и формы» (Чернышевский)? Добролюбов определял талант, как «умение чувствовать и изображать жизненную правду явлений». Товарищ Жданов говорил, что «...народ оценивает талантливость музыкального произведения тем, насколько оно глубоко отображает дух

нашей эпохи, дух нашего народа, насколько оно доходчиво до широких масс... Музыкальное произведение тем гениальнее, чем оно содержательней и глубже, чем оно выше по мастерству, чем большим количеством людей оно признается, чем большее количество людей оно способно вдохновить».

Эстетски усложненная, модернистская сюита Локишина не удовлетворяет требованиям научно-объективного, партийного критерия талантливости [курсив мой – А.Л.]. В своей музыке композитор не проявил умения чувствовать и правильно изображать жизненную правду. В этом сказалось пагубное влияние формалистического окружения на этого, несомненно, одаренного музыканта. Серьезные указания ЦК ВКП(б) о музыке не восприняты им еще с должной глубиной, и именно общественная критика обязана прежде всего направить его на верный путь, а не сбивать его с пути ложным воскурением фимиама. <...>»

Музыка, оскорбительная для Сталина

Недавно побывал в бывшем Московском парт. архиве (ныне – ЦАОПИМ) и нашел следующий любопытный документ – стенограмму закрытого собрания парторганизации Союза композиторов от 14 декабря 1949 года (собрание было посвящено итогам только что закончившегося III композиторского пленума). Напомню, что мой отец никогда не был членом партии.

На этом закрытом партсобрании никто никого не громил. Отличился только музыковед С.И. Корев. Цитирую стенограмму:

<<т. Корев: <... >Теперь, о допущенных на пленуме ошибках. Видите, товарищи, и я считаю, что брать на себя большую вину, чем она есть на самом деле, не стоит. В конце концов, по моим подсчетам больше чем из 200 произведений, 4–5 сочинений можно назвать таких, которые не могли бы пройти, и в этом нет особой ошибки. **Но, есть грубые ошибки – например, кантата Локшина, так как это связано с именем товарища Сталина. Эта холодная, бездушная музыка оскорбительна для такой темы.** А то, что прошло дискуссионное произведение Левитина, в этом нет ничего скверного.>> *Цит. по: ЦАОПИМ, ф.1292, оп. 1, ед. хр. 19, л. 69.*

Замечу, что слова Корева вполне согласуются с моим утверждением о том, что причиной разгрома отцовского сочинения было столкновение моего отца с «органами», а антисемитизм играл в данном случае не более, чем второстепенную роль (см. статью).

Москва, 4.09.2012

«ТРАГЕДИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА» КАК ПОРТРЕТ ЭПОХИ

(См.: Российская музыкальная газета, 2002, № 7–8)

В апрельском номере Российской музыкальной газеты за 2002 год¹ появилась статья В.И. Прохоровой «Трагедия предательства», в которой моему отцу предъявлено обвинение в доносительстве, и я вынужден на эту статью отвечать.

Прежде всего, скажу, что статья Прохоровой написана как литературное произведение и насыщена яркими подробностями событий полувековой давности, что должно свидетельствовать о незаурядной памяти ее автора. В статье создан на первый взгляд убедительный психологический портрет гения-злодея (т.е. композитора Локшина). Соль статьи – в пересказе серии разговоров Прохоровой со следователем и свидетелями, вызванными по ее делу (речь идет о 1950 годе). Беда заключается, однако, в том, что все эти эпизоды допускают неоднозначное толкование. В статье Игоря Маслова (Новая газета, 26–28 ноября, 2001 г.) подробно рассказывается о приеме, которым в наши дни владеет каждый мало-мальски обученный следователь; с помощью вариантов этого приема упомянутые в статье Прохоровой ситуации могут быть объяснены как результат сознательной режиссерской работы следователя, направляющего подозрения арестованной в нужное ему русло. Смысл этих действий следователя в том, чтобы прикрыть стукача при помощи дискредитации другого человека.

Чтобы не быть голословным, разберу ключевой эпизод из упомянутой серии, в основу которого положен – как я считаю – трюк с характерным для Прохоровой словом.

Слово «шакалы» является для Прохоровой характерным (см. вышеупомянутую статью, а также статью А. Григорьева «Прохоровы с Трех гор» в «Известиях» от 12.05.1998). Уверена ли Прохорова, что употребляла это характерное для нее слово только при моем отце? Я, например, убежден в противоположном.

¹ Т.е. примерно за месяц до исполнения Рудольфом Баршаем отцовского Реквиема в Большом зале консерватории.

Теперь приведу цитату из статьи Прохоровой: «В конце ноября 1950 года мне устроили очную ставку с сестрой Шуры – Марией Лазаревной, очень больным человеком. Она дрожала и сначала не могла вымолвить ни слова и только после того, как следователь пригрозил ей привлечением к уголовной ответственности, робко сказала, что я плохо влияла на ее брата, ругала соответствующие органы, называла их “шакалами”. *Но с Марией Лазаревной я вообще никогда ни о чем не разговаривала <...>*». (Здесь и далее курсив мой. – А.Л.).

Прохорова приходит (я же считаю, что ее аккуратно подводят) к выводу: брат сообщил сестре, что Прохорова называет органы безопасности «шакалами» и послал свою сестру на Лубянку. Вот что пишет Вера Ивановна по этому поводу: «Мне очень легко было отрицать все показания Марии Лазаревны, хотя *именно после очной ставки с ней мне стал понятен целенаправленный характер бесед со мной Шуры <...>*. Таким образом, мать и сестра Шуры, а также его лучший друг выступили в роли лжесвидетелей».

Однако Прохорова упускает из виду иную возможность: сестру моего отца привозят на Лубянку и с помощью угроз заставляют «вспомнить» то, чего она никогда в жизни не слышала. Показания моей тетки, в которых присутствует характерное для Прохоровой слово (известное «органам» от остающегося незамеченным стукача) автоматически бросает тень на моего отца, что «органам» и требуется.

То, что Прохорова считает моего отца законченным злодеем, неудивительно. Ведь он, по ее мнению, не ограничился тем, что послал лжесвидетельствовать свою мать и лучшего друга, но не пожалел и родной сестры, которая еле держалась на ногах. (Незадолго до этого моя тетка перенесла операцию, в ходе которой ей удалили шесть ребер и одно легкое. Ее дважды привозили на Лубянку из санатория – в первый раз она отказалась что-либо подписывать).

Попробуем теперь взглянуть на эту ситуацию с иной точки зрения. Прохорова считает моего отца очень умным человеком (хотя и злодеем). Однако одновременно она, не замечая того,

приписывает ему идиотические действия. Ведь мой отец, по ее мнению, услышав от нее в разговоре наедине про «шакалов», заставляет свою сестру сообщить об этом самой Прохоровой (на очной ставке). То есть зачем-то совершает саморазоблачение. Поэтому интерпретацию, даваемую Верой Ивановной всему эпизоду, я считаю неверной.

Замечу, что возможно еще одно, совсем уж простое объяснение показаний моей тетки, от которой я знаю, что, хотя Прохорова лично с ней почти не разговаривала и вообще ее практически не замечала, но вела себя заведомо неосторожно в большой компании, собиравшейся в доме моего отца, где моя тетка также присутствовала. Так что не исключаю, что моя тетка могла просто повторить то, что слышала от Прохоровой на самом деле.

Прежде чем переходить к разбору следующего эпизода, напомним читателю о том, что на Лубянке – чтобы сбить арестованных с толку – использовались так называемые «типовые антисоветские высказывания» (см. «Воспоминания» Надежды Мандельштам). Продолжу теперь цитировать Прохорову: «<...> единственный раз, когда мы оказались с Мееровичем и Локшиным вместе, за одним столом – был день рождения Шуры, кажется, 19 сентября 1949 года, у него дома. Тогда при прощании на лестничной площадке, когда все остальные гости уже прошли вперед, Локшин сказал мне: “Вера, посмотрите на портрет Маленкова. Это самый лютейший антисемит, и мне придется за него голосовать”. Я ответила, что *все они одним миром мазаны, все сволочи и негодяи (за точность формулировок я не ручаюсь)*, не все ли равно. Вот это и *пытался* на очной ставке мне повторить несчастный Миша Меерович <...>».

И вот, по мнению Прохоровой, мой отец, услышав от нее в разговоре наедине вышеприведенную фразу (или даже примерно такую!) посылает через год с лишним своего лучшего друга на Лубянку, чтобы тот напомнил об этом самой Прохоровой... Но ведь так не поступил бы не только очень умный, но даже минимально сообразительный стукач (если он не хочет, чтобы его разоблачили, конечно). Значит, интерпретация Прохоровой данного эпизода (равно как и предыдущего) неверна.

Вместо того чтобы приписывать моему отцу злонамеренное абсурдное действие, Прохорова могла бы предположить совершенно иное: Мееровича вызывают на Лубянку и заставляют «вспомнить» несколько (а не одно! – см. также статью «Прохоровы с Трех гор») типовых антисоветских высказываний из лубянских списков и приписать их Прохоровой. То, что одно из этих высказываний окажется похожим на какую-нибудь фразу самой Прохоровой, сказанную ею в течение года, имеет очень высокую вероятность. Очевидно также, что Прохоровой подсказывают, в каком направлении вести поиски врага: *очная ставка с Мееровичем происходит в тот же самый день, что и очная ставка с сестрой моего отца* (см. статью Прохоровой).

Не правда ли, такие действия «органов» надежно прикроют настоящего стукача?

Но зачем «органам» так стараться для прикрытия какого-то стукача? – возможно, спросит меня недоверчивый читатель. (Похожий вопрос мне уже фактически задавал господин Аполлонов в статье «Комментарий к одному расследованию», напечатанной в № 1 за 2002 год Российской музыкальной газеты). Читатель! Стукач – глаза и уши режима. По-моему, этим все сказано, тем более, что речь идет о кругах престижной интеллигенции, где, в сущности, рождается общественное мнение.

Я не стану анализировать здесь остальные эпизоды следствия, рассказанные Верой Ивановной, потому, что все они могут быть объяснены наличием банального подслушивающего устройства в ее квартире и минимальной фантазией следователя. [Речь о 12 или 13 разговорах моего отца с Прохоровой, происходивших наедине в прохоровской квартире. Именно описание этих разговоров, предъявленных затем Прохоровой следователем, составляет стержень ее статьи «Трагедия предательства». – Прим. 2020 г.]

В результате во всем рассказе Прохоровой остается *только один* обвинительный аргумент, который мог бы быть объективным образом подтвержден. Ответом на него я и ограничусь.

Итак, продолжу цитировать Веру Ивановну: «Что же касается появившегося во втором издании книги [т.е. в повести «Быть

может выживу» – А.Л.] утверждения сына, что разгромная критика кантаты отца, восхваляющей Сталина, на пленуме Союза композиторов СССР в 1949 году (то есть уже после ареста Есенина-Вольпина) является бесспорным доказательством его невиновности, то не надо забывать и другого. *Именно в это время* Локшин получил жилье – *несколько комнат* для себя, своей матери и сестры. Тогда это было исключительным событием, и понятно, что человеку гонимому или с сомнительной (с точки зрения советской власти) репутацией *квартиру* в Москве вряд ли бы предоставили».

Звучит убедительно, не правда ли? Но к действительности имеет очень слабое отношение.

Во-первых, комната была одна, а не «несколько» (и уж тем более не «квартира»). В трехкомнатной квартире № 1 на первом этаже дома 1^а (корп. 41) на Беговой улице жилье предоставили трем семьям: Грачевым, Губарьковым и Локшиным. (Это могут подтвердить наши бывшие соседи Мария Трофимовна Грачева и Татьяна Николаевна Губарькова, а также многие другие люди.) Комнату эту отец получил от Союза композиторов благодаря ходатайству Н.Я. Мяковского, который случайно услышал, как некий композитор от нее отказывался, желая получить лучшее жилье.

[Примечание 2020 года.] Во-вторых, предоставление моему отцу комнаты – в то время, когда давали жилье многим композиторам – никак не противоречит отведенной ему роли: быть громоотводом и прикрытием для стукача. (Точное время предоставления комнаты мне неизвестно. По-видимому, это осень 49-го года, а не 48-й, как я считал раньше.) То, что комната была получена отцом скорее всего осенью 49 г., я понял совсем недавно, внимательно перечитав интервью И.Л. Кушнеровой.

Чтобы закрыть жилищную тему, добавлю, что в начале 1951 года, уже после ареста Прохоровой, мой дед по материнской линии, профессор геофака МГУ Б.П. Алисов обменял свою двухкомнатную квартиру (Ново-Песчаная ул., д. 8, кв. 68) на отцовскую комнату, где в то время жили мои отец, мать, бабушка и тетка с открытой формой туберкулеза.

Замечу, наконец, что графологические предположения Прохоровой также не соответствуют действительности: буквы «ш» и «м», написанные моим отцом, прекрасно различимы. [Чтобы читатель мог в этом убедиться, я привожу в этой книге факсимиле отцовского письма].

Москва, 2002

ВЕРА ИВАНОВНА ЗАБЛУЖДАЕТСЯ

Только что прочел недавно вышедшую книгу Веры Ивановны Прохоровой – «Четыре друга на фоне столетия» (М., Астрель, 2012). Прохорова упорно продолжает утверждать, что мой отец виновен в ее аресте (с. 51–58).

Свои обвинения в адрес моего отца Прохорова подробно сформулировала еще десять лет тому назад в статье «Трагедия предательства» (Российская музыкальная газета, 2002, № 4). Сейчас эту газету невозможно достать, она стала библиографической редкостью.

Замечу, что обвинения Прохоровой в адрес моего отца, приведенные в ее новой книге, *изменились до неузнаваемости* по сравнению с тем, что написано в «Трагедии предательства». Что обвинения «поплывут», я, признаюсь, ожидал.

Прежде всего, в новой книге Прохоровой от упоминаний о 12 целенаправленных антисоветских разговорах с моим отцом **наедине** в прохоровской квартире (см. ее статью «Трагедия предательства») **не осталось и следа**. **ТО ЕСТЬ СТЕРЖЕНЬ ПРЕЖНИХ ОБВИНЕНИЙ ИСЧЕЗ!** Это значит, что Прохорова, наконец, **согласилась с тем, что ее квартира прослушивалась**. Интересно, встречаясь с моим отцом в 1949 году, она это тоже понимала? (Как я узнал из книги Прохоровой, она не только знала о существовании своей родственницы разведчицы Веры Трэйл, но и встречалась с ней; см. с. 28–29).

Единственное, за что пытается зацепиться Прохорова – это эпизод с разговором на лестничной площадке про Маленкова (после празднования дня рождения моего отца у него дома

19 сентября 1949 года). Эпизод, который в версии 2002 года представлялся второстепенной, ничего не доказывающей деталью. Но в версии–2012 он **полностью переписан**.

Разговор на лестничной площадке переехал в «кабинет», на стене «кабинета» внезапно материализовался портрет Маленкова, а из «кабинета» в неизвестном направлении были удалены моя бабушка и тетка (иначе не получился бы «разговор наедине»). Логически связанное с этим эпизодом описание разговоров со следователем и очных ставок с М.А. Мееровичем и с моей теткой **полностью переиначено** – *следователь, моя тетка и отчасти Меерович дословно или почти дословно повторяют в версии–2012 разговор про Маленкова (чего не было в версии–2002!)*. А еще откуда-то возникла у моего отца «секретарша»...

Но и в полностью переиначенном виде этот единственный оставшийся эпизод (разговор о Маленкове) по-прежнему непригоден для обвинений моего отца. Дело в том, что упомянутый разговор происходил спустя ровно два месяца после ареста Вольпина. **За моим отцом уже велась охота**. Напомню, что ближайшей подругой Вольпина в те годы была дочь (расстрелянного) разведчика, тесно связанного с лабораторией по **установке подслушивающих устройств** в жилых помещениях.

Кстати, думаю, что после ухода гостей Прохорова, влюбленная в моего отца (и считавшая себя его невестой), просто-напросто не замечала мою тетку и бабушку, которые не представляли для нее никакого интереса.

Обвинения в адрес моего отца не имеют никаких оснований – это всего-навсего чудовищная пустышка.

Москва, 2013

ОТВЕТ ВЕРЕ ИВАНОВНЕ ПРОХОРОВОЙ

Я привел выше (в сокращенном виде) свои тексты предыдущих лет, чтобы дать читателю возможность проследить за развитием моей аргументации в своеобразном диалоге с Прохоровой. Фактически моя статья 2002 года апеллирует к презумпции

невиновности — все предъявленные Прохоровой антисоветские разговоры могли быть подслушаны, свидетели проинструктированы... И кому в результате верить: Прохоровой, прошедшей тюрьму и лагерь или композитору, более-менее сносно проживавшему в Москве? Очевидно, что никакая презумпция невиновности Локшину в такой ситуации не поможет. Прежде всего, из-за читательского сострадания и симпатии к Прохоровой.

Для того, чтобы презумпция невиновности для моего отца сработала, мне нужно было раздобыть какой-то дополнительный сильный аргумент. Например, найти то самое подслушивающее устройство, которое чисто теоретически «могло быть» в прохоровской квартире. И я его фактически нашел.

Подслушивающего устройства не могло не быть, прежде всего, потому, что Прохорова оказалась выходцем из семьи, теснейшим образом связанной с Лубянкой:

1. **Двоюродная тетка Прохоровой** — Вера Гучкова-Сувчинская-Трэйл — знаменитая разведчица.

2. **Дядя Прохоровой** — проверенный агент «органов» по кличке «Лекал». Привожу соответствующий документ. Цит. по: «Лубянка в дни битвы за Москву. По рассекреченным документам ФСБ РФ». — М.: Издательский дом «Звонница», 2002, с. 82–90.

<<СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ «МОСКОВСКОГО ПЛАНА»>>

14 октября 1941 г.

Сов. секретно

Для товарища Л.П. БЕРИЯ

<...>Агент «Лекал» — бывший офицер царской армии, старый проверенный агент.

Оставляется в тылу противника с заданиями разведывательно-го характера. Для успешного выполнения задания по нашему заданию женился на дочери бывшего владельца «Прохоровской мануфактуры», располагающей большими связями среди сотрудников немецкого посольства в Москве и белой эмиграции.

В случае возвращения жене фабрик «Лекал» будет ими управлять и займет соответствующее общественное положение.<...>

Со всеми вышеперечисленными руководителями групп и агентами установлены пароли для связи.

КОБУЛОВ

ЦА ФСБ России, ф. К-1 ос, оп. 6, д. 84, л. 28–36.

Подлинник. Рукописный экземпляр исполнен Н.И. Эйтингоном>».

3. Мать Прохоровой – агент Лубянки. Это удалось с достоверностью установить после того как в своей книге «Четыре друга на фоне столетия» (М.: Астрель, 2012, с. 45) Прохорова, наконец, сообщила читателям, что ее мать взяли на работу в Интурист в 1930 году, т.е. в год образования Интуриста. О том, что эта замечательная организация была в то время подразделением НКВД, Прохорова, очевидно, не знала (!). Не узнали бы этого и мы с вами, дорогой читатель, если бы не рассекреченное письмо Берии Сталину (см.«Лубянка. Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР “СМЕРШ” 1939–март 1946» / Под ред. А.Н. Яковлева. – М.: Материк, 2006, с. 15–16).

Поразительно, что Прохорова, с ее громадным жизненным опытом в течение всей своей долгой жизни пребывала в иллюзорном мире, не понимая, сколько ее ближайших родственников служит в «органах».

* * *

Итак, прослушки в квартире Прохоровой не могло не быть – уж при таких-то отмеченных печатью Лубянки родственниках, да еще Рихтере, сначала – в качестве жильца, а затем – частого гостя.

Но вот еще красноречивый штрих к портрету Веры Ивановны: мой отец (как пишет она сама) во время встреч в ее квартире чрезвычайно опасался подслушивания, выбегал из комнаты, распахивал двери. Так как встречи и беседы продолжались, сама Прохорова, видимо, его разубеждала. В своей статье об этих страхах моего отца она пишет с иронией: «Он подозревал нашу соседку, неграмотную женщину, которая ничего не могла понять в наших разговорах». Выглядит эта ирония более чем странно, хотя бы потому, что в другой своей статье, посвященной Рихтеру

(в сб. «Вспоминая Святослава Рихтера», М.: Константа, 2000, с. 47) Прохорова пишет буквально следующее: *«Стараниями “органов” у нас освободилась [ничего себе термин! – А.Л.] комната в общей квартире и мы оказались обладателями трех комнат (двоюродного брата и дядю арестовали). И Святослав стал там жить. <...> Кстати, за ним велась слежка не только в военное время, но и после войны, так как мать была за границей»*. Но ведь слежка и прослушка – это практически одно и то же! Поведение Прохоровой во время встреч с моим отцом начинает выглядеть, на мой взгляд, просто чудовищно – как подстава. Надеюсь, что теперь презумпция невиновности по отношению к моему отцу, наконец, заработает.

Как же я отвечаю Прохоровой теперь, в 2020 году:

Уже одно то, что в заведомо прослушиваемой квартире разговоры, происходившие «наедине», были предъявлены Прохоровой следователем – ясно говорит о том, что за моим отцом шла охота. Уже одно это доказывает, что никакие разговоры с моим отцом в помещениях не были в то время разговорами наедине.

На этом мой ответ Вере Ивановне Прохоровой заканчивается.

Р.С.Приведу выдержку из недавно рассекреченного дела Прохоровой (ГАРФ 813 3 25384).

***Протест от 18 июля 1956 в порядке надзора
по делу ПРОХОРОВОЙ В.И.***

«Постановление Особого совещания подлежит отмене, а дело прекращено по следующим основаниям. Прохорова виновной себя не признала. Допрошенные по делу свидетели дали общие неконкретные показания, которые не содержат в себе наличия преступления.

Свидетель Короткина М.Б. показала, что ПРОХОРОВА “приблизительно зимой 1950 года в их квартире называла оскорбительными словами вождя советского народа”. В чем именно это оскорбление выразалось, не приводится. Высказывала ненависть к сотрудникам органов государственной безопасности, называя их оскорбительными словами.

Свидетель МЕЕРОВИЧ показал, что Прохорова, оскорбительно называла вождя советского народа, что в Советском Союзе имеется диктатура отдельного лица, стоящего у власти. Высказывала недовольство постановлением ЦК КПСС о недостатках в музыке и литературном творчестве Ахматовой и Зощенко.

В момент голосования при выборах в Верховный Совет СССР Прохорова нанесла оскорбление портрету кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, сопровождая эти оскорбления жестами».

Кстати, от своей тетки (М.Л. Локшиной) знаю, что Прохорова прилюдно плевала в портрет Сталина, и что она – так же как и моя бабушка (М.Б. Короткина) – считала Прохорову провокаторшей.

Р.Р.С. Приведу еще интересное свидетельство Анжелики Огаревой (7 искусств, № 2, 2018), которая передает рассказ Михаила Мееровича (речь, скорее всего, идет о 49 годе):

«– Прохорова так рьяно высказывала недовольство властью, – продолжал Меерович, – что однажды я не сдержался: “Ты что, на службе у Лаврентия Павловича? Смотри, не перестарайся!” После этого она на каждом углу верещала: “Мишка – грязный тип, сквернослов и похабник. Я отказала ему от дома”».

Три письма И.Л. Кушнеровой

И.Л. Кушнерова – А.А. Локшину

Дорогой Саша!

Я хочу написать Вам о событиях 48–49 годов, свидетелем которых я была и о которых Вы можете не знать. В 48 году у Вашего отца еще не было жилплощади в Москве, и он снимал маленькую квартирку без всяких удобств на станции Зеленоградская по Ярославской ж.д. Там он жил со своей матерью и сестрой. От станции до дома было довольно далеко идти, и так как Ваш отец был серьезно болен, то случались дни, когда эта дорога была ему не под силу. В такие дни он оставался ночевать в Москве у своей школьной знакомой (по Новосибирску) Надежды Лыткиной. Эта его знакомая жила тогда в коммунальной квартире в одном из Арбатских переулков, в доме, где – как выяснилось впоследствии – раньше жила Марина Цветаева.

Лыткина была гостеприимна, и у нее часто собирался народ. После занятий в Консерватории я не раз приходила туда вместе с вашим отцом; именно там я впервые увидела Веру Прохорову.

Вот что мне запомнилось: Прохорова много и охотно говорила – о своих именитых родственниках и знакомых и о том, кто из них что сказал. В ее речах, произносившихся на публике, постоянно присутствовали так называемые «антисоветские высказывания», за которые тогда нещадно карали. Мне было страшно всё это слушать, и я даже спросила у Вашего отца, не могут ли речи Прохоровой быть провокацией, на что он ответил отрицательно.

Я, конечно, разделяла взгляды Прохоровой на террористический режим, ужасала меня лишь ее манера высказывать свои взгляды публично – ведь она подставляла под удар не только себя, но и своих слушателей. (Надо сказать, что у меня в то время были дополнительные основания для страхов: мой отец находил-

ся в заключение, а я скрыла это при поступлении в Консерваторию и жила, постоянно опасаясь «разоблачения». Об этом не знал никто, кроме Вашего отца.)

У Лыткиной я видела Прохорову много раз, но никогда с ней не беседовала, обычно она «солировала». В этой же квартире я встретила и Есенина-Вольпина. Ваш отец с восторгом мне его представил как талантливого поэта. И поэт стал читать свои стихи. Читал он очень темпераментно, ярко, громко – *в коммунальной квартире*. Стихи были действительно талантливые, но такие антисоветские, что я до сих пор помню то ощущение ужаса, которое меня тогда охватило. Народу в комнате было много. Когда мы выходили из квартиры, я уже ожидала, что увижу фургон, который нас всех увезет на Лубянку. Но тогда все обошлось.

Хочу вспомнить еще один любопытный эпизод, относящийся к 48 году и характеризующий Прохорову. Однажды (это было вскоре после операции) Ваш отец позвонил мне и сказал, что неважно себя чувствует, и попросил проводить его до Зеленоградской. Мы поехали вместе. Сидячие места в вагоне были заняты, и мы ехали стоя. Вскоре я увидела, что Ваш отец побледнел и стал терять сознание. Он не упал, так как кругом было много народа. Ему освободили скамью, он лег. Так мы доехали до Зеленоградской. На воздухе ему стало немного легче, и мы медленно дошли до дома.

Через некоторое время, ближе к вечеру, совершенно неожиданно появилась Вера Прохорова. Она привезла в подарок Вашему отцу книгу Сервантеса «Дон Кихот» и была в хорошем расположении духа. Сидела она долго и много говорила в присутствии ей безудержно крамольном стиле, заставляя бледнеть мать и сестру Шуры. Так как Прохорова приехала без приглашения и не чувствовала, что ей пора уходить, я, услышав звук проходившей мимо электрички, «вежливо» сказала: «Интересно, куда идет поезд – в Москву или из Москвы?» Прохорова не отреагировала на мои слова; окружающие (за исключением непосредственного собеседника) для нее словно не существовали...

Теперь выскажусь, наконец, о статье Прохоровой «Трагедия предательства». Я считаю, что статья эта является обвини-

тельным документом против ее автора. Ваш отец имел несчастье познакомиться с Прохоровой и Вольпиным в то время, когда за этими людьми, вероятно, уже следили. При жизни Сталина, когда стены имели уши, когда казалось, что даже мысли могут быть подслушаны, эти два «героя» при стечении народа, в коммунальных квартирах громко обсуждали режим. Чтоб их посадить, не нужен был стукач, их квартиры наверняка прослушивались. Кроме того, для меня очевидно, что органы *никогда* не стали бы вызывать в качестве свидетелей членов семей своих сотрудников, тем самым как бы «выдавая» их.

Саша! Ваш отец был уникальным человеком и выдающим-ся музыкантом. И я счастлива и горда, что имела возможность учиться у него и общаться с ним всю жизнь до самой его смерти.

Ваша Инна Львовна

1 авг. 2002
Баден-Баден

И.Л. Кушнерова – А.А. Локшину

11.07.03

Дорогой Саша!

Хочу написать Вам об одном периоде в жизни Вашего отца.

Как Вы знаете, А.Л. жил некоторое время в Москве у Н.И. Лыткиной, с которой он учился в одном классе в Новосибирске. Девушка из Новосибирска, переехав в Москву и став врачом, устроилась на работу в Институт Курортологии и получила 2 комнаты в коммунальной квартире в одном из Арбатских переулков. Обычно после занятий в консерватории мы вместе к ней приходили. А.Л. ужинал, мы разговаривали, потом я уходила домой, в свою многонаселённую коммунальную квартиру (где в двух маленьких смежных комнатах жили бабушка, мама, дядя, моя сестра и я), а Шура оставался у Нади ночевать.

Однажды Надя сообщила нам новость: она сказала, что ее отправляют работать за границу (ей было около 30 лет). Мы ста-

ли обсуждать, насколько это реально. Надя считала, что это вполне реально, так как её уже попросили представить список книг, которые она хотела бы взять с собой. Было только одно «препятствие», туда посылают только замужних. И, не дождавшись, пока я уйду домой, тут же сделала А.Л. предложение: «Женись на мне, и мы вместе уедем». Он на это никак не отреагировал. Ещё несколько раз после этого, также в моем присутствии, обсуждался этот вопрос.

Примерно в это же время в доме Нади стала появляться Вера Прохорова. Внешне Надя была с ней очень приветлива, но что она на самом деле чувствовала, не знаю, так как Вера Прохорова активно старалась заинтересовать собой А.Л. Надя в этот раз за границу не поехала.

А.Л. понял, что ему пора поменять место жительства. Поскольку жить один он не мог (он нуждался в строгой диете из-за язвы желудка), он вызвал из Новосибирска маму и сестру Мусю и обратился в Союз Композиторов за помощью. Союз помог ему снять квартиру за городом и писал ходатайство о прописке. Положение осложнялось тем, что в то время существовали ещё продовольственные карточки, прожить без которых было невозможно. В прописке ему было отказано. Он обращался во многие инстанции, но безрезультатно. Положение становилось отчаянным.

Тогда я обратилась к своему дяде, который работал главным инженером на Монинском Камвольном комбинате (Московская область) с просьбой помочь. Это было невероятно сложно, и ему пришлось приложить все усилия, чтобы прописать маму А.Л. и Мусю в общежитие комбината. Они получили продовольственные карточки, это был счастливый день в их жизни. Но дядя при этом рисковал не только своим положением, но и свободой.

В течение нескольких месяцев они были там прописаны; лишь только после отмены продовольственных карточек стало возможным их оттуда выписать и прописать по месту жительства (в Зеленоградскую, где они фактически жили).

Я Вам изложила только факты, оценки и выводы Вы можете сделать сами.

Ваша Инна Львовна

28.07.03

Дорогой Саша!

Узнала от Вас о новых обвинениях в адрес Вашего отца.

Вот, что я помню о Вере Максимовой. Однажды Александр Лазаревич рассказал мне, что у него была подруга, студентка консерватории, пианистка Вера Максимова. Она хорошо знала немецкий язык и, кажется, работала переводчицей. Дружба продолжалась совсем недолго, так как Вера внезапно исчезла. А.Л. пошел к ней домой и ему сказали, что Вера арестована. В начале 1947 или в начале 1948 года (во всяком случае, до операции, которую он перенес летом) в консерватории опять появилась Вера и, узнав об этом, А.Л. пошел к ней. Дома он ее не застал, но ему подтвердили, что она вернулась. Вскоре он слег в больницу с обострением язвы желудка. Я поехала его навестить, и он рассказал мне, что только что к нему приходила Вера и что она очень изменилась, так что он не сразу ее узнал. Как он мне рассказывал: «В палату вошла незнакомая женщина, которая бросилась ко мне с объятиями». Ему понадобилось время, пока он сообразил, в чем дело.

Вера сразу восстановилась в Консерватории под фамилией Лимчер. Значит, она уже была замужем.

Я в то время ходила в класс симфонического дирижирования к проф. Н.П. Аносову (отцу Г.Н. Рождественского). Тогда же к нему на стажировку приехал дирижер из Болгарии Веселин Павлов. В классе Аносова были только мужчины, аспиранты и студенты, и я была единственной особой женского пола. Поэтому я хорошо помню, как в классе появилась еще одна женщина. Это была Вера Лимчер-Максимова. Занятия происходили таким образом: все приходили утром, по очереди дирижировали, а остальные сидели, внимательно смотрели и обсуждали урок.

Вера вела себя очень странно. Она старалась сесть рядом с Веселином, открывала книжку и читала. Она НИ РАЗУ не дирижировала, но каждую неделю приходила исправно на занятия и

читала, не глядя на тех, кто дирижировал. Однажды из любопытства я села поближе к ней и заглянула в книгу. Она была на немецком языке. Потом она перестала ходить на занятия.

В 1949 г. я окончила консерваторию и больше Веру никогда не видела. А вскоре я узнала, что Вера покончила жизнь самоубийством.

Ваша Инна Львовна

Письмо С.С. Виленского ректору Консерватории

Ректору Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского
профессору А.С. Соколову

Уважаемый Александр Сергеевич!

Общество бывших узников тоталитарных систем «Возвращение» просит Вас разрешить нам арендовать на один из дней в период с 23 мая по 3 июня Большой зал консерватории для исполнения Реквиема Александра Локшина под управлением Рудольфа Борисовича Барша; согласие его получено. В последних числах мая состоится организуемая «Возвращением» IV Международная конференция «Сопротивление в ГУЛАГе», естественным завершением которой станет первое исполнение в России Реквиема Локшина, признанного Дмитрием Шостаковичем, Марией Юдиной, Рудольфом Баршаем выдающимся музыкальным явлением века.

Мы хотели бы оформить аренду зала в ближайшее время, поскольку посещением консерватории должна завершиться наша конференция.

Заранее благодарны Вам.

Виленский С.С. (подпись)

Председатель общества «Возвращение»,
член Комиссии при Президенте России
по реабилитации жертв политических репрессий

Московское историко-литературное общество «Возвращение»
IV Международная конференция «Сопротивление в ГУЛАГе»

Памяти жертв ГУЛАГа и нацистских концлагерей

АЛЕКСАНДР ЛОКШИН
РЕКВИЕМ

Первое исполнение в России

Государственный академический
Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского
Художественный руководитель **Владимир Федосеев**

Хор Академии хорового искусства
Художественный руководитель **Виктор Попов**

Дирижер **РУДОЛЬФ БАРШАЙ**

Московская государственная консерватория
им. П. И. Чайковского
Большой зал

29 мая 2002 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оглядываясь назад, я вижу, что обязан многим людям, без чьей поддержки реабилитация моего отца была бы, наверное, безнадежным делом. Переломным моментом во всей этой истории стало, конечно же, исполнение Рудольфом Баршаем отцовского Реквиема на IV конференции «Сопротивление в ГУЛАГе», которое можно считать настоящим чудом.

Возможность исполнения почти все время висела на волоске, но когда прошла первая репетиция, я и моя мать, наконец, успокоились. Тут-то нам и принесли газету со статьей Прохоровой «Трагедия предательства». Надо сказать, что мы все последние месяцы ожидали какого-то удара, но все равно эта статья была для нас как удар грома.

К моей матери вызвали скорую помощь, и на концерте она не была. Я тоже собирался остаться дома, но в последний момент передумал. Мы оба не сомневались в том, что концерт будет сорван.

И многие люди, которые сочувствовали нам и которых мы пригласили, испугались и не пришли.

Но концерт состоялся. Так случилось, что на исполнение мы ехали вместе с Р.Б. Баршаем и попали, вдобавок ко всему, в чудовищную автомобильную пробку. Мне запомнилось, что Рудольф Борисович был абсолютно спокоен.

Потом этот концерт и репетиции к нему стали эпизодами фильма «Гений зла», снятого Иосифом Пастернаком (приз «Сталкер» за лучший неигровой фильм на IX Международном фестивале правозащитного кино).

29 января 2004 г.

ПОСТСКРИПТУМ. ДВА ИНТЕРВЬЮ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ФИЛЬМ

Я благодарен И.С. Пастернаку, любезно предоставившему мне тексты интервью, взятых им у И.Л. Кушнеровой и В.С. Попова и не вошедших в его фильм «Гений зла». Оба текста публикуются с небольшими сокращениями. Содержание интервью И.Л. Кушнеровой отчасти пересекается с ее тремя письмами, приведенными выше. Примечания в квадратных скобках сделаны мной. – А.Л.

1. ГОВОРIT ИННА ЛЬВОВНА КУШНЕРОВА

Александр Локшин – это имя я впервые услышала (вернее увидела) на афише Большого зала консерватории в Москве в 1944 году. А что ещё исполнялось в этом концерте – я не помню. Ну, меня заинтересовало имя, которое я никогда не слышала, и я увидела, что будет исполняться симфоническая поэма на слова Симонова «Жди меня». На это стихотворение уже было написано много песен, и мне было интересно, как это можно сделать симфоническую поэму. Поэтому я пошла на этот концерт. Что меня поразило – что у молодого композитора такая... такое оркестровое мастерство, а кроме того, что сочинение было трагическим. Я подумала: как же так – в стихах говорится «Жди меня и я вернусь, только очень жди» – значит, от этого всё зависит. Ну а потом я поняла, что всё-таки тысячи женщин очень хорошо ждали, но никто не вернулся. И вот такое было тяжёлое состояние, трагическое сочинение. Но после исполнения композитора вызывали на сцену, аплодировали. Вышел молодой человек – высокий худой блондин в очках. Я пошла за кулисы поздравить его. Поздравила, сказала, что мне очень понравилось сочинение. Всё. А потом, через некоторое время я увидела в консерватории (я тогда была студенткой консерватории) объявление: «Состоится государственный экзамен – коллоквиум». И кто принимает участие, и там было тоже имя Александра Локшина. Я решила пойти. Этот

экзамен обычно происходил в кабинете директора консерватории. Это огромный кабинет с роялем, и там собиралось всегда много публики. Студенты приходили послушать, как другие отвечают. Это был такой интересный экзамен. Тебя могут спросить о чем угодно – по теории, по истории, по инструментовке, всё, что касается музыки и не музыки тоже. И вот, значит, ему задали вопрос – он ответил, ему задали ещё вопрос – он ответил. В общем, сначала студенты стали все улыбаться, потом и комиссия стала улыбаться. Это был настоящий фейерверк, это блестящие ответы на все вопросы, которые ему задавали.

Нет, [симфоническую поэму Локшина «Жди меня»] не помню. Я слышала ее один раз.

Это потом уже Александр Лазаревич мне рассказал, что это второе исполнение, а первое исполнение состоялось в Новосибирске [в 43 г]. Исполнял оркестр под управлением Мравинского и вступительное слово говорил Иван Иванович Соллертинский. (Это замечательный был музыковед, который очень поддерживал и помогал Шостаковичу.) И он сказал очень такие хорошие слова по поводу этого сочинения [Локшина] – что-то вроде того: «Запомните этот день. Вы слышали сегодня музыку гениального композитора». Что-то вот в таком плане. К сожалению, к этому времени [т.е. ко времени сдачи коллоквиума] Иван Иванович уже умер и никак не мог поддержать композитора.

После коллоквиума я также подошла и поздравила. Всё, на этом всё, казалось бы, кончилось. Но через некоторое время мы узнаем, что нам дают нового преподавателя. Новый преподаватель – Александр Лазаревич Локшин. Мы удивились, потому что совсем молодой, думали: ну чему он нас может научить, когда у нас столько старых преподавателей. Но наши страхи оказались напрасными совершенно. И я к нему попала сразу в класс чтения партитур, класс инструментовки и музыкальной литературы. Музыкальная литература – это групповое было занятие. Он нам играл разную музыку – тогда не было CD, были только пластинки – но в основном он исполнял это сам, либо с Мишей Мееровичем. И он не только нам музыку показывал, он приносил книжки авторов, которые жили в это время. Когда мы изучали импрессиони-

стическую музыку, он приносил нам альбомы, репродукции с картинами импрессионистов. В то время в Москве негде было это посмотреть, потому что музей Нового Западного Искусства был просто закрыт, а в музее Изобразительных Искусств – он тоже был закрыт, потому что там была выставка подарков Сталину. И много лет это было. Так что вообще западную живопись негде было увидеть. Мы были очень рады, мы очень много от него получали. Он блестяще проводил эти занятия, он был весь в музыке.

Я не могу показать, как он играл. Но вы знаете, что когда ему что-то нравилось, какой-то фрагмент, – он не только его играл, он и пел. И, мы уже потом узнали, [он пел], если там красивая гармония или красивый поворот, или модуляция красивая. Потом, когда мы сами слушали музыку, мы говорили: «Ну, это *туюю*». Ему не хватало рояля, он ещё голосом это добавлял.

Нет, это [как Локшин пел] я вам не покажу. А вот в классе инструментовки, скажем, мы делали так: значит, бралось сочинение для фортепьяно и надо было его оркестровать, сделать оркестр. И мы сначала с ним [Локшиным] обсуждали. Вот он спрашивал: «Какие инструменты я здесь могу услышать и как здесь, что здесь?» Значит, обсуждали, потом я это писала, приносила ему и он что-то исправлял, что-то показывал. Это было очень интересно, тем более перед этим я училась у других преподавателей по инструментовке. Я не могу даже сравнивать эти занятия, насколько много они мне дали. И потом даже, когда я играла какие-то сочинения, я всегда думала: а как это может звучать в оркестре? Так что эти вот занятия – это мне мои знания, мой багаж на всю жизнь...

Мы сыграли с ним [Локшиным] все симфонии Малера и вообще мы всю музыку играли, очень много музыки в четыре руки. Это было однажды вот так: я была на уроке, позанималась и пошла уже к двери, а следующий студент ещё не пришёл. И вдруг он меня спрашивает: «Скажите, а вы любите стихи?» – Я говорю: «Люблю». – «Хотите, я вам читаю?» И вот я помню, как я стояла у двери, он достал записную книжку и стал мне читать стихи – очень красивые стихи, замечательные. Я помню, что, среди других, он прочитал мне и сонет Камозенса, на который че-

рез много лет он написал симфонию. После этого случая мы как-то подружились, и когда не приходил кто-то из студентов, я всегда уже оставалась и мы просто музицировали. И дело в том, что ему негде было жить. Он жил у знакомых. А я тоже жила в коммунальной квартире, и мне торопиться домой было нечего. Поэтому вечером, если мы находили класс, мы всегда брали ноты и играли, много играли. В общем, всю музыку я знаю с тех пор.

...Я вспоминаю события 50-летней, больше чем 50-летней давности. Вот я училась у него с 44 года по 48 год. А в 1948 году я пришла в консерваторию как-то и увидела на стене приказ, в котором были имена уважаемых профессоров, преподавателей консерватории, которые увольнялись без указания причин, просто увольнялись из консерватории. В этом списке был Александр Лазаревич Локшин.

Положение у него тогда [в 44 г.] было ужасное, потому что он был болен и у него была язва желудка, и вообще это ведь была война. Понимаете, уже одно сознание того, что каждый день тысячи людей гибнут – уже трудно переносимо. А кроме этого ещё был голод, конечно, не такой, как в Ленинграде, но всё-таки голодно было. И вот, когда он был голоден – у него были так называемые голодные боли – а если он что-то поест некачественное, у него были опять боли. Несколько раз его клали в больницу вот. Но это ему не помогало. И вот, значит, ему пришлось сделать операцию. Операция была очень тяжёлая, и он её трудно перенёс и после этого он долгое время себя плохо чувствовал.

У него было две рубашки. Значит, одну он носил, другую стирали. Потом у него был один костюм, и я его чинила таким образом: брала ножницы и отстригала нитки, которые висели на рукавах. А всё-таки он был преподаватель консерватории, и он себя чувствовал плохо. Поэтому он мне как-то сказал: «Я написал заявление в Союз композиторов. Прочесть?» – Я говорю: «Хорошо». И вот я помню это заявление в Союз композиторов от члена Союза композиторов: «Ввиду того, что моя экипировка пришла в упадок, прошу выдать мне ордер на фиговый лист». Я сначала не поняла, о чём речь идёт, он мне объяснил. И, вы знаете, ему выдали ордер на материал (тогда ж нельзя было пойти и купить) и,

значит, он купил себе материал, потом сшил и стал ходить уже в приличном костюме. Но у него не было ботинок. Тогда мы в складчину купили ему ботинки на день рождения. Как я говорил – от меня один ботинок, а другой ботинок от других знакомых.

Что нам помогало жить в то время? – конечно, музыка и только музыка. Мы много и сами играли, ходили на концерты. Да, в это время ещё случилось – значит, у него не было жилья в Москве – он ночевал у своих знакомых, то у одной знакомой, то у другой вот. И, наконец, он снял квартиру – комнату с кухней, за городом, далеко. Это по Ярославской железной дороге за Пушкино – Зеленоградская. И он вызвал из Новосибирска маму и сестру, потому что ему нужно было готовить диетическую еду, иначе он не мог никак существовать. Сестра Муся – она была настолько предана ему. Она каждое утро – у них не было ни холодильника, ни даже мясорубки – она утром ездила в Москву на рынок, покупала там мясо, а потом ножичком чистила вот это мясо, скребла, чтобы из этого сделать подходящую для него еду.

После его увольнения из консерватории, он вынужден был браться за любую работу. Он делал инструментовки, он делал переложения оркестровые на клавиры с голосом, несколько Баховских кантат он переложил. Ему даже как-то предложили работать в цирке, написать музыку для цирка, и мы с ним ездили в цирк посмотреть – что это. Но, по-моему, это не получилось. Конечно, спасало его то, что он играл с Мишей Мееровичем по партитуре новые сочинения советских композиторов, потому что они должны были показывать, и многие авторы не могли сами сыграть свои сочинения.

У композиторов сочинения, значит, покупал Союз композиторов или Министерство культуры. И прежде чем исполнить симфоническое сочинение, его должны были услышать в исполнении на рояле. И поэтому у них собирались, собрания были, заседания и эти сочинения прослушивались, потом обсуждались – принимать или не принимать, покупать или не покупать, исполнять или не исполнять. Поэтому эта работа очень требует высокого профессионализма. Играть по партитуре ещё чужое сочине-

ние и почти с листа, потому что на репетиции очень мало времени было – конечно, большое мастерство. Собственно, они только вдвоём играли. Иногда, когда Миша Меерович почему-то не мог – бывало пару раз, что я его замещала. Это очень трудно, и я не хотела, я сопротивлялась, не хотела играть, он [Локшин] меня прямо заставлял: «Играй, ты можешь и всё».

...Ну вообще до занятий с Александром Лазаревичем, я вообще не знала, что существует Малер, Берг, Шенберг. Это он всё нам показал и раскрыл. И вот тогда в это время пошли... Да, после окончания войны мы были так счастливы, что кончилась война, что теперь, наконец, будет посвободнее дышать. И ничего подобного. Началась так называемая холодная война; потом пошли постановления партии и правительства. Это был менделизм, морганизм, языкознание. А в 48 году было совещание деятелей культуры, на котором Жданов главную речь говорил. Это было страшно, потому что все наши главные композиторы, которым мы поклонялись, – Шостакович, Прокофьев – всех их обвиняли в формализме и говорили, что они чужды народу, что эта музыка не нужна. И я даже помню, что в «Правде» какая-то рабочая писала: «Вот какое замечательное постановление. А я-то думала, почему я не понимаю Шостаковича». (Я подумала, что она и Бетховена, конечно, не понимает.) «А партия вот правильно разобралась и вот правильно указала, что такая музыка нам не нужна». А потом было собрание студентов и преподавателей консерватории в Большом зале консерватории. И я помню это. Народу нас согнали очень много, мы были очень сначала настороженны, знаете, я помню, как проректор консерватории (там нужно было каяться), вот он говорил, что мы недостаточно проследили, что молодые преподаватели консерватории – Локшин и Меерович, – пользуясь своими выдающимися исполнительскими данными, пропагандируют музыку, чуждую советскому народу. Они играют студентам Малера, Берга и Шенберга и это всё не должно быть.

И потом выступил представитель из министерства (я не помню уже его фамилии). Он читал по бумажке и говорил, что вместо того, чтобы изучать фольклор, в консерватории изучают

Ха... Ха... Хандемита. Он не мог выговорить эту фамилию, не мог прочесть. Ну, что в зале было! Мы не могли удержаться от смеха, конечно. Но это тяжёлый был смех. Мало того, что нам нельзя было говорить, что мы думаем, нам ещё нельзя было слушать, что мы хотим. Вот это был такой период.

В 49 году я окончила консерваторию, второй факультет уже, и меня хотели послать на работу в Киров, т.е. в место ссылки, и когда я отказывалась, мне сказали так: «Если вы не едете, мы вас отдаём под суд и 2 года тюрьмы вам грозит. Так что выбирайте». Пришлось выбрать свободу. И я уехала на работу в Симферопольское музыкальное училище в сентябре 49 года. После этого Александр Лазаревич мне писал в Симферополь письма. Да, он пытался меня устроить в Москве и даже устроил, но для Министерства культуры это оказалось недостаточным, неважным и меня всё равно ушляли. И в это время ему заказали [симфоническую] поэму о Сталине. Кстати, один раз (я не помню, то ли это был Новый год, то ли это был день его рождения и там было несколько композиторов) шёпотом мы говорили, что живописи уже нет, потому что если пойти на выставку живописи, можно увидеть только портреты вождей и портреты Сталина, и что теперь хотят, чтобы музыки тоже не было. Писать можно только на стихи, как один [Г. Свиридов] сказал осторожно, «о товарище Сталине». Он боялся даже просто сказать «о Сталине» – «о товарище Сталине». И когда Шуре [т.е. А.Л. Локшину] предложили написать, он согласился и стал писать эту поэму... Вот, пока он писал её, я находилась в Симферополе, и он каждую неделю мне присылал письмо, в котором описывал, что происходит, что он написал, как он переписал партии, как он договаривался с дирижёрами, потом, по-моему, текст меняли. И это было страшное время, он так писал: «Погода ужасная, настроение ужасное». А потом вот, где-то в ноябре, вообще пришло страшное письмо, в котором он писал так: «Внешне вроде ничего не происходит, но у меня такое предчувствие, что я на грани. И если я это не миную – то прощай навеки и молись за меня». И я поняла, что, видимо, он боится, что его арестуют, потому что тогда стали арестовывать очень многих людей. Но вроде бы обошлось,

а потом он сказал, в декабре исполнялось его сочинение и его очень ругали. И его ругали, что он не так осветил образ Великого вождя. Но он перед этим мне тоже писал, что тема такая, что я не знаю, что лучше, понимаете? Будут его хвалить или будут его ругать. Даже всякие политические обвинения выдвигали против него.

И, видимо, он опять этого боялся, потому что он написал, что «я бы хотел к тебе приехать в Симферополь». А я вот этого не поняла, что ему страшно оставаться в Москве. И поскольку у меня в январе каникулы начинались, я написала, что ему приезжать не нужно, что в январе я приеду сама. Ну он как-то по-другому это оценил и, в общем, в январе, когда я приехала в Москву, было как-то напряжённо. Но он мне ничего не рассказывал. Он только сказал, что вот сочинение моё так разругали и вообще мне надо как-то выжить.

Это был... В 49 году я уехала, значит, это было начало 50 года.

Да, понимаете, в 49 году Шура жил с семьёй вот в этой деревне, а тут кто-то из композиторов... Давали квартиры и кто-то отказался, и он получил комнату в коммунальной квартире, в трёхкомнатной квартире. В других двух комнатах тоже жили композиторы с семьями. В одной – композитор Губарьков с женой и дочкой, а в другой – композитор Грачёв с женой и, помоему, с двумя детьми. У них [у Локшиных] была небольшая комната, ну, так я предполагаю, – метров 16, и там ещё стоял рояль, который он взял напрокат в Союзе композиторов, в Музфонде. И, значит, три человека – он, мама и больная открытой формой туберкулёза сестра. Значит, всего должно было стоять три ложа. Но всё равно [новое жильё было превосходным] по сравнению с тем, где он жил, в этой деревне, где не было воды, надо было ходить к колодцу (я не помню – или колонка там была), и зимой это была ледяная дорожка, и надо было топить печку дровами, и дрова лежали тут же. И уборная находилась, извините, на улице. В общем, все удобства возможные. Поэтому это было прямо почти как счастье – эта комната. Вот 49 год, Новый год он уже встречал на этой квартире. И вот этот период я знаю только

по его письмам. А в 50 году (после [моего]отъезда) он мне сказал, что он знаком с Таней – она очень умная, интересная девушка, очень ему нравится. И когда я приехала уже после окончания учебного года, в Москву вернулась, я узнала, что он женился на Татьяне Борисовне Алисовой. И она действительно очень умная женщина оказалась, и они очень дружно прожили до конца жизни.

Что я могу ещё рассказать? Вот так дальше получилось, что он... Наша дружба не прервалась, он всегда мне звонил и сообщал, если он что-то новое написал, и приходил ко мне и играл эти сочинения. Даже когда он писал что-то для кино или вот для театра Ленсовета он написал музыку к пьесе.

Его сочинения, которые он писал, всегда очень трудно шли к исполнению. Потому что, кроме Четвёртой симфонии, все его симфонические сочинения с текстом. И вот эти тексты не нравились обычно ни в Союзе композиторов, ни в Министерстве культуры. Ну вот... этот сонет Шекспира в переводе Пастернака – это же тоже отражает наше время: «И мысли заткнут рот, и ходу совершенствам нет». Он писал о своём времени и в своей музыке вот эта трагическая нота всё время присутствует. Это наше время.

Потом, когда подросла моя дочь, стала студенткой, я как-то видела, что ей не хватает вот музыкальной атмосферы. Такой нужной атмосферы в консерватории тогда не было – никто уже не играл в четыре руки. Это как-то исчезло совершенно. И я попросила разрешения Александра Лазаревича показать ему дочь. Ну, он послушал её, ему понравилось, и после этого он стал даже с ней заниматься. Мы ходили вместе, она играла ему, он садился рядом и занимался с ней. Потом мы слушали музыку, много говорили о музыке, и я считаю, что это очень много ей дало, и я ему чрезвычайно благодарна за то, что он это сделал. И когда она играла государственный экзамен в Малом зале консерватории – он хотел прийти. Я сказала: «Ни в коем случае!» Потому что у него уже был инфаркт и он плохо себя чувствовал. И он всё-таки пришёл. И после экзамена он мне сказал, что он так рад, что он пришёл, потому что он слышал её на хорошем рояле, в хорошем зале и что это пианистка от Бога.

И мне это так важно было, и ей это так важно было, что он поддержал её. И потом, в общем, до конца его жизни так продолжалась наша дружба совместная.

Теперь, что я хочу ещё сказать вот насчёт 50-го года. Это я вернусь к событиям 48-го года, видимо. Я, значит, говорила, что Шура жил тогда за городом – Александр Лазаревич. И когда он был в Москве, ну сначала ещё пока преподавал, а потом, когда он просто приезжал зачем-нибудь в Москву по делам, то вечером он не мог ехать домой, ночевать туда за городом. И он ночевал у одной своей знакомой – у Надежды Ивановны Лыткиной. Она была его школьной подругой по Новосибирску. Они учились вместе в одном классе. Надя была очень гостеприимным человеком, Шура всегда там приходил к ней ночевать. После консерватории я часто с ним приходила, мы вместе приходили к ней – у неё всегда было много народу, всегда кто-то приходил на огонёк к ней. И вот в этом доме, у Нади Лыткиной, я впервые познакомилась с Верой Прохоровой. Она пришла туда, были ещё люди (я не помню, кто) и сразу как-то всеобщее внимание привлекла, потому что она стала говорить о своих именитых родственниках и знакомых, кто что сказал, кто что сделал – это было интересно. Мне было интересно, потому что я сама училась в институте, т.е. в училище Гнесиных у ассистентки Нейгауза. Поэтому для меня имя Нейгауза тоже как-то было очень уважаемо. И вот она, значит, всё это рассказывала. Потом она рассказывала, говорила, что-то говорила, и в её речи всё время проскальзывали (я даже не знаю, как это назвать) ну антисоветские, что ли, какие-то вещи. Естественно, мы все думали так же, но вслух говорить об этом все боялись, и я себя почувствовала очень плохо ещё и потому, что у меня в это время был арестован отец, а я не указала этого. И мои подруги этого тоже не знали. Просто тогда спросили: «У тебя папа на фронте или где?» – «Нет, папа ушёл из семьи». Папа с нами не жил. Только Александру Лазаревичу я рассказала об этом, и он мне очень сочувствовал и знал, что у меня отец арестован. А я всё время находилась с чувством вины, что я неправду написала и я боялась разоблачения. Поэтому я, в общем, сидела тихо. После того, как этот вечер окончился, я была испугана.

Я спросила у Александра Лазаревича: «Слушай, а не может это быть провокацией? Как можно так говорить?» – Он говорит: «Да нет». Ну нет, нет. Каждый раз [когда] с Александром Лазаревичем мы вместе приходили к Наде – почти каждый раз приходила и Вера. И каждый раз всё повторялось одинаково. Она, в основном, говорила одна (как-то она занимала всё место), она хотела быть услужливой и предложила всем желающим заниматься у неё английским языком. И я помню, как она сказала: «Это очень просто, сначала я поставлю произношение, а потом всё пойдёт просто». И вот, кстати, эта Надя, значит, очень заинтересовалась этим. Не знаю, стала она у нее заниматься или нет. В этом же доме, у Нади Лыткиной, я виделась с Есениным-Вольпиным один раз, первый и единственный. В этот раз я почему-то пришла позже. Одна пришла. Александр Лазаревич был уже там. И там было много народу. Я не могу вспомнить – была там Вера или не была. А сам Есенин-Вольпин был с девушкой по имени Инна. И Александр Лазаревич его с восторгом мне представил. Сказал: «Замечательный поэт, такой талантливый, так интересно пишет, в общем, послушай». И вот поэт стал читать стихи. Это было действительно очень талантливо, очень интересно. И он читал так громко, с таким темпераментом (это в коммунальной квартире и в присутствии всего дома), что я была просто в ужасе [из-за красноты лица и содержания стихов]. Я просто не знала, куда мне деваться. И, вы знаете, когда мы выходили, и я помню, что кто-то замешкался в двери, потому что было много народу, и я прямо смотрела – нет ли там машины, которая нас сейчас всех увезёт на Лубянку. Ну, в этот раз пронесло.

Я почему говорю о Вере Прохоровой сейчас? Потому что появилась её статья в «Музыкальной газете», статья, после которой я себя почувствовала так, как я себя чувствовала после прочтения постановления партии и правительства. Потому что это была такая же неправда и такая же несправедливость, и не знаешь, что сказать по этому поводу. И только поэтому я решила рассказать о ней. Вот однажды был такой случай. Александр Лазаревич позвонил мне и сказал, что он плохо себя чувствует, он в Москве. И попросил его проводить, не могу ли я его прово-

дять в Зеленоградку. Мы с ним встретились и поехали вместе в вагоне. Народу было много в электричке, и мы стояли там все в тесноте. Мы разговаривали. Потом он вдруг перестал говорить, и, когда я посмотрела, я увидела, что он совершенно бледен и что он, видимо, теряет сознание. Но поскольку народу было много, его, так сказать, поддерживали, когда он стал падать, и люди уступили ему скамейку и он лёг на неё, и так мы доехали до Зеленоградской. Когда мы вышли с поезда (там вообще хорошо было, очень красивое зелёное место, и мы шли очень медленно), и он как-то пришёл в себя. И мы решили, что мы ещё поиграем в четыре руки. Мы пришли, сели за стол, стали пить чай. Мы с Шурой, мама и сестра Муся. Вдруг через некоторое время кто-то стучит. Это пришла Вера Прохорова. Пришла в таком прекрасном настроении, очень возбуждённая – она принесла подарок Александру Лазаревичу. Принесла книжку «Дон Кихот» Сервантеса, которую, как она знала, он хотел достать. Но тогда это было тоже непросто. Кстати, я ещё до этого ему достала эту книжку. Ну, он, естественно, как человек вежливый, ничего не сказал, и она стала придумывать какую-то надпись фантастическую, изобретать. И написала. Ну, потом, естественно, села за стол с нами. И вот, мы сидели и Вера, значит, опять стала солировать, она опять говорила одна, опять говорила в присущей ей манере, т.е. это у неё, видимо,... ну, она привыкла уже так говорить, она, видимо, не замечала. А мама и Муся Шурины – они сидели, ни слова не говоря и вообще затаив дыхание, потому что они тоже испугались. В общем, она сидела очень долго и говорила очень долго, и мне это надоело, и я сказала единственную фразу, с которой я вообще когда-либо к ней обращалась, хоть я её видела много раз. Услышав шум проходящей электрички, я сказала: «Интересно, как вы думаете, куда эта идёт электричка – из Москвы или в Москву?» Просто я боялась, что она дожждётся того времени, что уйдёт последняя электричка, и она должна будет там остаться. Она мне ничего не ответила, не удостоила меня этим. В конце концов, всё-таки она уехала. Это я говорю о том, что она в статье своей говорит, что она с мамой и сестрой [Локшина не общалась и не вела при них политических разговоров].

Потом она сама пишет, что она была на дне рождения у Александра Лазаревича 19 сентября 49-го года. Опять там находились мама и Муся. Они-то её слышали, а она это описывает так, как будто бы он должен был это всё [т.е. крамольные речи Прохоровой] рассказывать [своей сестре и матери]. Они все это слышали сами.

Теперь я хочу несколько слов сказать об этой статье [Веры Прохоровой]. Я не могу найти достаточно деликатных выражений, потому что статья вся лжива. Она начинается со лжи и кончается ложью. И там есть два островка правды. Один островок, где она говорит о том, какой интересный был человек Александр Лазаревич. И другой островок, где она говорит, что «ему незачем было на меня доносить». И это тоже правда. Какой был смысл ему доносить на неё? А начинается статья с того, что она говорит, что она никогда публично не называла имя человека, который, как она считает, донёс на неё. А там она просто пишет: «Неоднократно доносил на меня». Это вообще совершенно непонятно, что она имеет в виду. И вот она говорит, что никогда она не называла, а на самом деле все 50 лет (полвека) эта женщина только тем и занималась, что поносила, клеветала на Александра Лазаревича. Как это началось вообще?

Значит, когда я вернулась из Симферополя, стала работать в Москве. И вот, через несколько лет (я не помню точно, в каком году) на одном из концертов ко мне подошла в антракте одна из бывших студенток и сказала... Поскольку все знали, что мы дружны с Александром Лазаревичем, она спросила: «Скажи, а ты ещё общаешься с Локшиным?» – Я говорю: «Да, общаюсь». – «Знаешь что, я тебя хочу предупредить. Будь осторожна!» – «Что такое?» – «Он служит в НКВД». – Я говорю: «Откуда ты такую ерунду несёшь, что ты говоришь?» – Она говорит: «Нет, ты знаешь, я была у Генриха Густавовича [Нейгауза]. Ты знаешь, у него есть жена Милица Сергеевна, а у неё есть племянница Верочка. Так вот Верочка точно это знает». – Я говорю: «Ну, мало ли, что скажет Вера? Как ты этому можешь верить?» – «Нет, она говорит, что она точно знает». Мне было очень неприятно, но я не придавала этому большого значения, потому что я видела Веру и я

представляла себе, что она может сказать. Что она может сказать всё, что угодно. Но через какое-то время опять в концерте встречаешь ещё какую-то знакомую и разговор прямо идёт тот же самый, как по тем же самым нотам. «Ты видишь Локшина?» – «Вижу». – «Будь осторожна!» – «Что такое? Откуда ты это знаешь?» – «Вот племянница Верочка». А ещё через несколько лет моя подруга, которая училась вместе со мной и училась у Локшина, пришла ко мне и сказала: «Я тебе должна сказать очень страшную вещь. Я была в гостях у одного профессора Университета (я боюсь, может быть, я ошибусь в фамилии, ну вроде Поспелов), у него был приём какой-то там, было много народу и вот они сказали, что Локшин служит в НКВД.» – Я говорю: «Откуда они это могут знать?» – Она говорит: «Ну, знаешь, племянница Верочка». Опять этот страшный призрак – племянница Верочка. Вы знаете, я ни разу не слышала, чтобы Вольпин это кому-то говорил. А вот адрес всегда назывался один. Это она говорит, что она никогда публично не называла. Откуда вот Якобсон, который приходил к Локшину, откуда он узнал? Откуда узнал Нагибин, который в книжке, не называя фамилий [пересказал версию Прохоровой], но музыканты все уже знали [о ком идет речь]? Ко мне подходили в течение нескольких лет люди, зная, что я с ним [Локшиным] дружна и предупреждали меня из хороших намерений, чтоб я была осторожна. И, значит, это накапливалось всё время. А сколько музыкантов, которые ей [Прохоровой] так слепо поверили, что продолжают эту же компанию – лжи, клеветы. И меня удивляет, что музыканты очень хорошие – я не понимаю, они что – не слышали музыки Локшина, не понимают, не хотят слышать? Они её не только не слушают, они делают всё от них возможное во всех филармониях всего мира [чтобы музыка Локшина не звучала]. Когда речь идёт о Локшине – они говорят то, что говорит эта Вера. Понимаете? Это вот как клевета в «Севильском цирюльнике». Клевета сначала тихо, потихоньку журчит, как ручеек, и дальше, всё дальше и дальше. И вот это всё по всему свету и потом, как бомба разрывает. И вот эту бомбу она разорвала, вот написав вот эту статью в газете. Статья, которая написана как бы мужской рукой – я бы сказала. И это я ощутила, как

пощёчину лично себе, потому что я этого человека [Локшина] знала больше 40 лет и я ему говорила всё, что я думаю, и я знаю его мнение по поводу этого режима. Естественно, как интеллигентный человек мог воспринимать этот террористический режим – однозначно ведь это. И она [Прохорова] уже боролась не с Локшиным, потому что его 15 лет не было в живых. Значит, она продолжает борьбу с его музыкой, она сделала это перед тем, как должен был исполняться его Реквием. То есть она хотела помешать его исполнению. Я не знаю, как можно назвать такой поступок. Я просто не нахожу слов.

Вот, пока Локшин был жив, и эти слухи циркулировали только в кулуарах. И в основном, сначала только музыканты [поверили Прохоровой], потом это перешло в университетские круги, потом за границу постепенно. И вот, когда у него были трудности с исполнениями – я считаю, что просто он не умел ходить, не умел просить. И вот, пока Баршай играл – всё исполнялось. И это то, что он писал для камерного оркестра. А когда он писал для большого оркестра – ведь это же просто невозможно понять, невозможно это принять, есть сочинения, которые ни разу не исполнялись. Есть сочинения, которые даже не опубликованы. Значит, никто и не может их исполнить. А ведь у него каждое сочинение – это шедевр. Это любой музыкант может сказать, тот, кто умеет слушать. Да и после смерти Александра Лазаревича, по моему, Татьяна Борисовна – его вдова – обратилась к Рождественскому (или сын, я не помню уж кто) и попросили исполнить сочинение Локшина. И вдруг он отвечает: «Вы мне сначала представьте справку из КГБ, что он там не работает». Вы знаете, ну как можно на это реагировать? Я просто не знаю, как. Значит, человек – очень хорошо исполнял его [Локшина] музыку, и он «Киплинг» [т.е. 3-ю симфонию Локшина] исполнял в Лондоне (кстати, Александра Лазаревича туда не выпустили на премьеру). Он потом и Четвёртую симфонию играл, ещё играл и очень хорошо играл. И вдруг вот такая ещё пощёчина. Понимаете, то, что госпожа Прохорова пишет в статье – это настолько всё придумано и лживо...

Что я вам могу еще сказать насчет Вольпина?

Вот моя знакомая – она журналистка. Она сочинения Вольпина читала в рукописях, даже ещё в 60-х годах. Они всё время циркулировали. И поскольку она журналистка – она иногда была в профкоме литераторов. И вот она говорит, каждый раз, когда туда приходил Вольпин – литераторы разбегались. Потому что они боялись с ним разговаривать, потому что он всегда открыто все вещи называл своими именами, и все боялись быть соучастниками. И поэтому известно было – вот он пришёл, и все куда-то исчезали. Видимо, Александр Лазаревич имел несчастье познакомиться и с Верой, и с Вольпиным в то время, когда за ними следили. Кстати, у Веры Прохоровой вся её родня – они же все были арестованы. Осталась она одна. И ясно, что за ней могли следить. И за ним [Вольпиным], когда он говорил везде всё вслух. И вот он [Локшин] – это такое несчастье вот с ним случилось, что он с ними познакомился. А на них не надо было доносить, они сами на себя доносили.

...Понимаете, конечно, она [Прохорова] уже старый человек и вроде бы нельзя так её судить, но нужно же судить, если человек совершает преступление. Я считаю, что это преступление, потому что она закрыла доступ к музыке Локшина. Люди не слушают. Это преступление. И эта племянница Верочка – она была чья-то внучка, чья-то дочка – наконец превратилась в самостоятельную фигуру, в зловещую фигуру в истории музыки. Понимаете? Она, она закрыла дорогу, закрыла дорогу гениальной музыке и лишила людей [возможности] слушать эту музыку. Ну, правильно, очень жалко, что она пострадала. Но при чём тут Локшин.

Понимаете, как вот она, почему она так решила – непонятно. Ну, я немножко вот отступлю. Когда арестовали моего отца, мать сказала, что это соседи. Я говорю: «Мам, какие соседи? Они полуграмотные люди (мы жили тогда на Пресне, они работали на Трёхгорке), что они могли сказать – ничего». И вот через несколько лет случайно, получилось случайно так, что я узнала: когда к нам домой кто-то приходил, вдруг появлялся участковый милиционер – документы посмотрит, уходит. Раз, два, три..., один раз пришёл в 11 часов вечера – у нас сидела сестра отца, ну,

которая жила в Москве, и пришёл милиционер и требует у неё документы. Она говорит: «Когда я иду в гости, я документы не беру». – «Ну как же так!» И тогда я сказала: «Послушайте, что вы от нас хотите? Вот вы посмотрите, мы сидим за столом, мы пьём чай с вареньем, водки у нас нет, громко мы не разговариваем, мы тихо разговариваем. Что вы хотите, почему вы к нам ходите?» – И вдруг милиционер (это я в первый раз услышала, что милиционер так говорит), он говорит: «Извините меня, но дело в том, что у вас когда что-то происходит – нам сообщают соседи, и мы обязаны реагировать». И тут я поняла, что мама была права. Но не могу сказать, кто из них донёс на моего отца. А она [Прохорова] все как-то очень знает, когда она говорила это в присутствии многих людей. И вы знаете, хоть я говорила, что я старалась быть осторожной – однажды у меня был такой случай, когда прибежала ко мне домой моя подруга по консерватории (Наташа Давыдова, кстати) вот и сказала: «Инночка, что ты там сказала?» – Я говорю: «Где сказала?» – «На уроке истории музыки». – «Да я ничего не говорила». – «Нет, ты что-то сказала, вспомни». – Я говорю: «Я не помню. А что такое?» – «Я пришла в деканат, я находилась в деканате, когда туда вошла педагог по истории музыки – Туманина – и сказала, что ты настроена антисоветски». Я до сих пор не могу вспомнить, что я могла сказать, понимаете. Как тогда было, тогда же вообще при жизни Сталина вот говорить это [было нельзя], и я всегда старалась быть... я помнила свое место и, значит, я все-таки что-то сказала. А потом вот случай был с [дочерью] Еленой, когда она прошла на [международный] конкурс и должна была ехать, и ей в последний день отказали в визе. Причем до этого она как раз кончила консерваторию, и я звонила в министерство культуры – я что-то чувствовала, в воздухе что-то чувствовала. Я говорю: «Вы скажите, если она не поедет на конкурс, то я её отправлю отдыхать, потому что она очень устала». – «Нет-нет, пусть занимается». И вот, в последний день, значит, уже надо уезжать, мы с чемоданом в министерство едем и ей визу не дали. И она осталась. Вся группа улетела, она осталась. Через некоторое время я случайно разговариваю с одной женщиной, которая работает в министерстве культуры, и она го-

ворит, что в министерство позвонили и, значит, сказали, что её тётка 12 лет назад (троюродная тётка, не родная, не двоюродная, а троюродная) уехала в Израиль. И, значит, поэтому её не пустили. Это уже в 82 году. И я стала думать: кому это выгодно? Ну, нашлось несколько человек, которым это выгодно. Но кто из них [донес] – я не знаю, я не могу сказать.

... Вы знаете, мне не очень хотелось бы об этом говорить, но если вы уже спрашиваете – я скажу. Она [Прохорова], конечно, была влюблена в Александра Лазаревича, и очень сильно. И в этом нет ничего удивительного, потому что очень многие женщины были в него влюблены. Понимаете, такое излучение от него шло – вот гениальный человек, не только гениальный композитор, блестящий пианист, умница, остроумный – он светился. Женщины в него влюблялись. Но, вы знаете, ни одна себя не объявляла его невестой, а она объявила это. Ну, видимо, она вообразила себя его невестой, а тут он женился на другой женщине. И я понимаю, что у неё возникло такое отношение. Кстати, в этой статье она пишет: «Вот Рихтер меня предупреждал, что он на меня донесёт». Я сразу этому не могла поверить – тут она клеветает не только на Локшина, но уже клеветает на Рихтера. Рихтер с ним учился вместе, и он не мог не знать, что Локшина лишили диплома, не дали ему диплом, потому что он написал Четырёхчастную симфонию на слова Бодлера «Цветы зла» и, значит, опять стихи показались комиссии недостаточно утверждающими советский строй. Но как могли лишить диплома доносчика, работника такого учреждения?..

И я помню, как... Вот это был период в 48 году или в 49 году. Летом Александр Лазаревич получил путёвку в Союзе композиторов в Сортавалу, и он поехал туда с Мишей Мееровичем. И там была Мария Вениаминовна Юдина. Он мне писал оттуда тоже письма и писал вот, что он познакомился с Марией Вениаминовной – «замечательный музыкант и мы с ней очень много времени проводим, мы с ней играем в четыре руки». И когда вот они вернулись после Сортавалы, Мария Вениаминовна хотела устроить [безработного] Александра Лазаревича в институт Гнесиных. Вы знаете, в институте Гнесиных много хороших педаго-

гов, но я сама лично знаю нескольких на теоретическом факультете таких бездарей, что они не только ничему не могут научить – они могут только испортить человека, отвратить его от музыки. Так вот таких они и держали, а Локшина они не взяли. Потом он устраивался – было место главного музыкального редактора на ЦСДФ¹. Это я уже знаю, потому что там я потом работала. И он пошёл туда устраиваться, и его опять не взяли – такого музыканта, такого знатока оркестра, такого эрудита и такого человека... Он же должен [был бы] принимать музыку композиторов, которые писали музыку для фильмов. И его не взяли. Тогда он сказал об этом своему соседу – Коле Губарькову: «Ты знаешь, вот там есть место». И Коля пошёл, и его взяли. То есть Николай Иванович Губарьков – это милый человек был, но он был композитор, который писал для баяна. Так что по эрудиции невозможно сравнивать.

Вы знаете, мы никогда на эту тему не разговаривали. Он никогда мне это не говорил. Вы понимаете? А я не могла ему сказать ничего, что о нём говорят. Я ему ни разу это не говорила. Ну как я скажу? Ну я же знаю. Он же ненавидел этот порядок, как он мог там служить им и как я ему скажу, что про тебя говорят. Мало ли что про кого говорят. Понимаете? И вообще такая у него трагическая судьба – это же невозможно. Вот, казалось бы, настала перестройка, вот должны исполнять его музыку и вот тут Вера Прохорова. Я не в состоянии этого понять. И то, что она объявила себя невестой [Локшина], это говорила всем также её тётка Милица Сергеевна. Я надеюсь, что есть люди, которые ещё живы и которые могут это подтвердить. Вот мне одна просто сказала тоже: «Милица Сергеевна сказала, что вот Верочка была невестой Локшина, а он её предал».

Вы смотрите, раз вызывали как свидетелей мать и сёстру [Локшина] – ну как это может быть, что человек работает у них стукачом. Они вызывают членов его семьи – это же бред просто, это же абсолютно невозможно. Уже одно это доказывает, что этого не могло быть. Понимаете, вот что бы я ни сказала [раньше],

¹ Центральная студия документальных фильмов.

одного этого достаточно, чтобы от этой мысли отойти и забыть. Ну, мало ли, что говорит женщина, которая была в него влюблена, и которая наверное [на что-то] рассчитывала, раз она объявляла [себя] его невестой. Когда она была невестой – непонятно, в какое время.

Конечно же, надо доказать, что человек виновен. Ведь то, что пишет [Вера Прохорова] – там нет ни одного доказательства. Это всё разговор.

Непонятно, верят женщине экзальтированной, которая вот такое придумала. А в конце она ужасную фразу пишет, что «он всю жизнь вёл двойную жизнь». Какую двойную жизнь? Это значит, он всю жизнь там служил и доносил на людей. Так, что ли, это надо понимать? И за всё время стало известно, что вот она и Вольпин, то есть два таких человека, которые на всех углах... С ними страшно было разговаривать просто. Понимаете? Ну это же просто бред какой-то. Я со многими говорила (с теми, которые меня пытались убедить). Все говорили так: «Вот Верочка точно знает, она точно знает». Можно подумать, что всем этим лицам, которые утверждают это – им, может быть, из КГБ звонили и сообщали. Откуда у них эти сведения? Понимаете, какая же дьявольская энергия у этой женщины – полвека клеветать на человека (на любого человека клеветать – это грех), а тут это вообще, на такого гениального человека. Не знаю, как это назвать. Мне кажется, всё-таки после такой статьи надо подавать в суд. Мне кажется. Ну, семья не хочет – вот она пострадала, вот она старая женщина. Я говорю об этом, потому что я считаю, что я имею право об этом говорить. Во-первых – я сама старая женщина, во-вторых, мой отец отсидел 10 лет, и его после этого в Москву не пустили, ему не разрешили даже повидаться с семьёй. Он тайком один раз приезжал и должен был уехать. А Веру всё-таки, ну конечно, слава богу, что её пустили в Москву, и что она работала по специальности, слава богу. Понимаете, я считаю, что я имею право это сказать, потому что я сама пострадала от этого. Сначала я лишилась отца, хорошего, очень доброго человека, а потом я из-за Лены...

Я хочу сказать, что есть такая музыка, которая, сколько бы я ни слушала, я не могу слушать без слёз. Это песни Шуберта, это какие-то песни Шумана, Брамса, это Шестая симфония Чайковского и романсы поздние Чайковского, это Малера («Песнь о Земле» я ни разу не могла прослушать, чтоб не заплакать) и это музыка Локшина. Это тоже такая музыка, которая не оставляет меня равнодушной, и я знаю, что не только я так реагирую, но ещё есть у меня знакомые музыканты, которые тоже так говорят.

Я могу только сказать, что я очень рада и счастлива тем, что я была знакома с таким человеком, что я у него училась и чему-то, видимо, научилась – и что я была с ним дружна вот в течение всей его жизни, и что он очень поддержал Лену – что было очень важно и для неё, и для меня, и я ему очень благодарна.

...Понимаете, меня тоже удивляет, что многие композиторы поверили [Вере Прохоровой насчет Локшина]. Ну почему не поверить? Это же так проще думать. Он зависть вызывал, потому что многие композиторы, написав свои сочинения, не могли даже свои сочинения играть по партитуре. А он чужие сочинения играл. Это, конечно, могло не нравиться.

Я думаю, что это, конечно, советская [черта]... и человеческая тоже, потому что зависть везде есть, клевета везде есть, а советская – это там, где не давали ему писать. Ведь когда он писал «Мать скорбящую» [1977] – вы знаете, это ведь сочинение, написанное на Реквием Анны Ахматовой. Это же запрещенное было сочинение, он где-то достал, и я была в ужасе. Я говорю: «Ну все равно же его не исполнят никогда».

Баден-Баден, 2002

2. ГОВОРИТ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ ПОПОВ (1934–2008)

Дело всё в том, что действительно Локшин – это крупное явление в нашей музыке, в русской музыке, крупное явление. И так мне повезло, что в 70-е годы [я познакомился с Локшиным], благодаря Рудольфу Борисовичу [Баршаю] как раз. Мы с ним в этот момент активно работали, потому что у него был свой камерный оркестр, а у меня хор мальчиков. Мы часто пели музыку Баха... И однажды Рудольф Борисович мне сказал, что вот есть такая идея – исполнить Шестую симфонию композитора Локшина. Я тогда, естественно, почти ничего [о Локшине] не знал. Знал, что такой композитор есть и знал, что находится он в довольно трудном положении, потому что когда-то, написав кантату «Тараканище», попал в глубокую немилость в связи с тем, что нашлись такие добрые люди, которые подсказали, что «тараканище – это наш вождь и учитель». И поэтому, естественно, довольно трудная у него была судьба и музыку его мало кто знал. И вот Рудольф Борисович предложил мне исполнить Шестую симфонию, а Шестая симфония написана на стихи нашего великого поэта начала века – Блока. И поэтому с огромным удовольствием я решил познакомиться с этой музыкой. И я пришёл к нему [Локшину] домой... Жил он недалеко от проспекта Вернадского, в маленькой квартирке. Надо сказать, что условия жизни у него были, конечно, весьма и весьма посредственные. Жуткий инструмент, но он сел, стал играть и сразу захватил меня. Знаете, потом с огромной радостью я работал со студенческим хором института Гнесиных над этим сочинением, и мы должны были его исполнить в открытом концерте. Но я уехал с детским хором радио и телевидения на гастроли в Чехословакию. Когда вернулся, ректор мне сказал, что этот концерт отменяется по рекомендации райкома партии, куда он, видимо, сам и сообщил о предстоящем концерте. Первый секретарь райкома партии Киевского района, значит, сказал, что это сочинение нельзя исполнить и оно не может быть исполнено в концерте. Ну, естественно, у меня был скандал с ректором и после этого я подал заявление об уходе из

Гнесинского института, где проработал 15 лет. Так что, видите, меня как судьба с Локшиным [свела].... А сейчас, когда Рудольф Борисович давно уже мечтал о том, чтобы мы спели именно это сочинение «Реквием» , мы даже хотели это сочинение исполнить с несколькими хорами зарубежными и такое совершить турне довольно большое: Германия, Китай и Япония. Но почему-то этот план, к сожалению, не был выполнен. Но вот видите, случайно, но к этому сочинению все-таки пришли. И, надеюсь, что это у нас первое исполнение в России, но не последнее.

Москва, 2002

ГОРЕЧЬ ЛЮСТРАЦИИ

6 июня 2006 года Ирина Корсунская, прочитав моего «Гения зла» и, в частности, письмо И.Л. Кушнеровой от 28.07.2003, высказалась [в интервью Елене Шварц] о причинах ареста своей родственницы [пианистки, ученицы Г.Г. Нейгауза] Веры Максимовой-Лимчер, обвинив в этом аресте моего отца. Интервью Ирины Корсунской помещено на сайте IGRUNOV.RU.

Вот мой ответ.

Достаточно сопоставить две даты:

1944 год, арест Веры Максимовой по обвинению в заговоре против Берии и в террористическом акте [см. текст И. Корсунской];

1948 год, продолжение учебы в Консерватории (напомню – при живом Берии) [см. упомянутое письмо И.Л. Кушнеровой], чтобы понять – в судьбу Веры Максимовой вмешались ВЫСШИЕ СИЛЫ, которые редко делают что-нибудь задаром.

Я считаю, что трагический выбор [т.е. самоубийство] Веры Максимовой-Лимчер – это отрицание того, что ее заставили говорить о моем отце.

*А.А. Локишин, сын композитора
январь 2007*

Этот текст, за исключением слов в квадратных скобках, был послан в январе 2007 года Елене Шварц, но никакой реакции не последовало. Поэтому я сейчас выскажусь подробнее.

В интервью Корсунской есть такие слова: «Во-первых, он [т.е. мой отец] распространил про Веруську слух, что она стучит – это излюбленная тактика».

На это я отвечу следующим образом. Если двое обвиняют друг друга в стукачестве, то, видимо, один из них совершает мужественный поступок, а другой распространяет клевету. Вопрос только в том, кто есть кто. Соображение насчет «излюбленной тактики» я могу вернуть Корсунской обратно, им можно затем перебрасываться сколько угодно.

Как я полагаю, в противостоянии такого рода положение человека, не имеющего отношения к «органам», осложняется тем, что его запугивают (и ему приходится быстро замолчать), а «органы» распускают о нем слухи по своим каналам, придавая клевете видимость объективности.

Поэтому, расследуя взаимные обвинения такого рода, нужно обращать внимание только на детали, которые не могли быть сфальсифицированы. В данном случае – это упомянутые выше даты: 1944 год – арест по обвинению в акте террора и 1948 год – продолжение учебы в Консерватории.

Как известно, в те годы меньше пяти лет за «политику» не давали (а за террор давали значительно больше). И досрочное освобождение ПРИ ТАКОМ ПРИГОВОРЕ, как я полагаю, могло произойти либо по личному распоряжению Сталина, либо по согласованию с «органами». В случае Максимовой первая из двух возможностей, на мой взгляд, отпадает. Для сравнения добавлю, что досрочное освобождение Генриха Нейгауза в 1942 году (после девяти месяцев отсидки в одиночной камере) вдова его ученика Анатолия Ведерникова назвала в своих воспоминаниях «почти невыносимым» по тем временам. Но за Нейгауза хлопотали знаменитые музыканты, известные ученые...

* * *

Но это не все.

Из текста интервью Корсунской я узнал, что Вера Максимова работала переводчицей с немецкого в лагере для военнопленных. Можно ли себе представить, чтобы такая работа (выпытывание всяческих немецких секретов) не была сопряжена со службой в НКВД? Приведу цитату из книги Ирмы Кудровой «Путь комет», т. 3 (СПб: Изд-во «Крига», 2007, с. 222):

«В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая <...> была переводчицей с немецкого в лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и осенью сорок первого к его открытию уже наверняка готовились, набирали штат. <...> Тамару Михайловну Гребенщикову, с которой я беседовала, направили на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии».

Выше я уже писал о том, что, по моему мнению, в лагерях для немецких военнопленных штатная работа переводчика была сопряжена со службой в НКВД, при этом я опирался на свидетельство, приведенное в книге Иры Кудровой «Путь комет», т. 3 (СПб: Крига, 2007, с. 222).

Недавно мне удалось раздобыть книгу В.А. Всеволодова [1], где на с. 221–222 я обнаружил штатное расписание Можайского лагерного отделения лагеря для военнопленных № 27 по состоянию на 1 мая 1944 года.

В ШТАТЕ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК, ПРИЧЕМ ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ОПЕРГРУППЫ, Т.Е. ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СОТРУДНИКОМ НКВД.

Надеюсь, что Вячеслав Игрунов, предоставивший на своем сайте слово обвинительнице моего отца Ирине Корсунской, даст там же ссылку и на этот текст.

Для полноты картины приведу еще цитату из книги В.А. Всеволодова, характеризующую будни лагеря для военнопленных.

<<В своей работе сотрудники оперотдела лагеря №27 использовали традиционный набор методов, применяемый НКВД с момента образования этой организации: разрушение групповой солидарности, изоляция оппозиционных сил, дискриминация, террор, стукачество и специальные психологические приемы.>>
(См. [1], с. 135)

[1] Всеволодов В.А. Срок хранения – постоянно. Краткая история лагеря военнопленных и интернированных УПВИ НКВД-МВД СССР № 27 (1942–1950 гг.). – М.: Мемориальный музей немецких антифашистов, 2003.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

К моему величайшему сожалению, бывшая жена Якобсона – Майя Улановская – всегда была горячей сторонницей Веры Прохоровой.

Материал этой главы знакомит читателя с образом мыслей и действий моей непримиримой оппонентки.

1. КТО ЛУЧШЕ РАЗБИРАЕТСЯ В СТУКАЧАХ?

В 2003 году, уже после того как я ответил Прохоровой на все ее обвинения в адрес моего отца (см., например, [1]), в издательстве ИНАПРЕСС вышла очередным дополненным изданием книга Н. и М. Улановских «История одной семьи». В этой книге подруга Прохоровой Майя Улановская, ВИДЕВШАЯ МОЕГО ОТЦА ВСЕГО ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ НА КОНЦЕРТЕ, называет его «сверхъестественным злодеем» и «нелюдем», который – после концерта – «кланялся, как заводная игрушка», и т.д. и т.п. Читая текст Улановской, я поначалу поверил в искренность ее ненависти к моему отцу. (Впоследствии, однако, эта моя уверенность сильно поколебалась.) Приведу теперь, в качестве примера, один превосходный пассаж из ее книги (стр. 244):

<<Несколько лет назад в Иерусалиме побывал Р. Баршай и пригласил меня на свой концерт, чтобы поговорить о Локшине. Опасаясь, что от меня через русский журнал, где впервые были напечатаны эти воспоминания, пойдут порочащие музыканта слухи, он напомнил мне за кулисами, что «гений и злодейство – две вещи несовместные», а Локшин – гений и потому не мог быть стукачом. «Я кое-что понимаю в музыкальных гениях». – «А я понимаю в стукачах».>>

Однако, вот что пишет по сходному поводу госпожа Улановская, когда дело касается ее самой: (см. книгу А. Якобсона «Почва и судьба». Вильнюс – Москва, 1992, с. 342):

<<В первом же письме ко мне из Черняховской спецпсихбольницы (от 4.8.70) Григоренко выразил полное понимание моей вспышки <...>[Читатель, я надеюсь, понимает, что, находясь в

психушке, выражать какие-либо сомнения и подозрения было невозможно. – А.Л.]. Однако, в своей книге «В подполье можно встретить только крыс...» (Нью-Йорк, Детинец, 1981, стр. 674–675), вспоминая о собрании в своем доме, он придал этому пустяшному эпизоду крайне зловеющий смысл, намекая на мои связи с КГБ. Все попытки объясниться с Григоренко лично или через прессу ни к чему не привели.>>

Интересно, а Григоренко понимал что-нибудь в стукачах?

Я благодарен М.Улановской, которая, поддерживая свою репутацию за чужой счет, сохранила для любителей музыки замечательную историю о Рудольфе Баршае.

[1] Локшин А.А. «Трагедия предательства» как портрет эпохи / Российская музыкальная газета, 2002, № 7/8. Эта статья, воспроизведенная также в «Гении зла» (М., 2005), представляет собой ответ на статью: Прохорова В.И. Трагедия предательства / Российская музыкальная газета, 2002, № 4.

* * *

Приведу теперь свою заметку, опубликованную в феврале 2007 года на <http://www.lokshin.org> примерно в таком же виде:

2. ПЕТР ГРИГОРЕНКО, МАЙЯ УЛАНОВСКАЯ И ДРУГИЕ

Насколько мне известно, книга воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс...» известного правозащитника П.Г. Григоренко (1907–1987) издавалась на русском языке трижды.

В прижизненном издании 1981 года (Нью-Йорк, Изд-во «Детинец») имеются примерно четыре страницы (см. с. 674–678), опущенные в российских изданиях 1990 и 1997 годов.

Данная заметка – попытка разобраться в том, почему эти важнейшие страницы, содержащие не для всех приятные мысли, исчезли в двух переизданиях книги, сделанных после смерти ее автора.

В частности, исчезли такие строки:

«В честности Петра Якира в те дни [т.е. в дни, предшествовавшие аресту и «раскаянию» Якира] я усомниться не могу. Слишком близко и хорошо я его знаю, чтобы подозревать в чем-нибудь темном. У него были два недостатка, из-за которых я советовал ему отойти от [правозащитного] движения, не ожидая ареста. Первый из этих недостатков – излишняя, просто невероятная доверчивость. Стоит совершенно незнакомому человеку прийти к нему и рассказать о действительных или мнимых бедах, перенесенных им от властей, и он уже для него свой человек. Любой бывший зэк – друг и брат. Он последнюю рубашку снимет с себя для него и поделится последней рюмкой.

Его невероятную доверчивость я могу продемонстрировать на примере. <...>

Второй недостаток Якира, о котором КГБ знало так же точно, как и о первом, это его надломленность. 14-летним мальчиком он был взят из очень благополучной и пользующейся почетом семьи героя гражданской войны, военного теоретика, командарма Ионы Якира и брошен в бездну лагерного мрака. Вместо любящей родительской ласки – мат и побои надзирателей, издевательства уголовников. 17 лагерных лет и ссылки навсегда поселили в его душе ужас перед лагерной бездной. Люди не понимают всей глубины этой трагедии. Они видят обычно лишь ее следствие – пьют. Я же видел саму суть и поражался, как смог он преодолеть этот ужас и стать одной из самых заметных фигур правозащиты.»

Трудно назвать эти строки НЕСУЩЕСТВЕННЫМИ. Особенно если в дальнейших изданиях сохранилось ТАКОЕ (речь идет о «раскаянии» Якира, показанном в 1973 году по телевидению; П.Г. находился в это время в психиатрической клинике и вынужденно смотрел телепередачу):

«Я понимал, что это спектакль, и сжал сердце в кулак. Но когда на вопрос П. Якиру, что он может сказать о психическом состоянии Григоренко, был получен ответ: «Я как неспециалист не мог правильно судить о его психическом состоянии, поэтому все мои утверждения о полной его нормальности объективно яв-

ляются клеветническими», — я еле удержался от крика боли. В какую же бездну падения надо сбросить человека, чтобы он об отце своем не мог сказать — нормальный он человек или сумасшедший. А к Петру Якиру я относился именно как к сыну. К любимому сыну. И он ко мне относился по-сыновьи. Последнее полгода перед моим арестом редкий день проходил, чтобы мы не виделись. О его сыновьем отношении свидетельствует и отношение к моей семье после моего ареста.

И вот теперь он заявляет, что «не знает», нормальный я или сумасшедший. Было от чего взвыть. Думаю, что даже в «раскайании» у человека должна быть черта, которую перешагивать нельзя. Петр ее перешагнул».

(Нью-Йорк, Изд-во «Детинец», 1981, с. 727–728.
Москва, Изд-во «Звенья», 1997, с. 555–556)

Однако в предисловии к российскому изданию 1997 года Андрей Григоренко пишет:

«Отец не оставлял работу над текстом и после выхода нескольких изданий — что-то поправлял, сокращал казавшееся ему несущественным. Однако, постоянно возникали какие-то более срочные дела, и завершать эту, третью, редакцию пришлось мне — руководствуясь последними указаниями отца».

Изъятие первого из двух процитированных выше отрывков, посвященных Якиру, представляется мне непоправимым ущербом для книги П.Г., и я не исключаю, что Андрей Григоренко, готовя издание 1997 года, подвергся давлению со стороны третьих лиц.

Думать так меня заставляет также следующее обстоятельство.

В 1990 году в журнале «Звезда» книга П.Г. была переиздана, причем приблизительно с тем же изъятием, что и в 1997 году. Однако сделанное изъятие мотивировалось совершенно иначе:

«Характеристики некоторых деятелей правозащитного движения, содержащиеся на последующих страницах главы (стр. 674–678 книжного издания [1981 года]), требуют, на наш взгляд, развернутого фактографического комментария, вследствие чего мы решили в журнальном (некомментированном) варианте вос-

поминаний П.Г. Григоренко эти страницы опустить. Сокращения сделаны нами с согласия А.П. Григоренко, первого издателя воспоминаний. – Ред.» («Звезда», 1990, № 12, с. 174.)

Итак, инициатива изъятия текста принадлежит редакции «Звезды», а Андрей Григоренко всего лишь выражает свое согласие. О том, что текст сокращается в соответствии с последними указаниями П.Г. – ни слова.

Но это не все. В издании 1981 года на с. 674–675 имелись следующие строки (речь идет о совещании на квартире П.Г. в 1969 году, где обсуждался вопрос о создании легального оппозиционного комитета):

«Когда же появилась Майя Улановская, возмущение мое дошло до предела. Майя в правозащите в то время не участвовала, но, видимо, в страхе за отца своего ребенка (Анатолия Яковсона) время от времени вмешивалась, как противник решительных действий. Мне было понятно, что и в данном случае она привлечена как «ударная сила» противника комитета. Взгляд мой, по-видимому, настолько ясно отразил мои чувства, что Толя Яковсон нашел необходимым подойти ко мне и заявить: <<Петр Григорьевич, я Маю не приглашал и даже не говорил ей о совещании [подчеркнуто мной – А.Л.].>>

И далее:

<<Но гвоздем вечера оказалась действительно Майя.

Ее выступление... собственно это не было выступлением. Это была истерика... истерика человека, находящегося в полубессознательном состоянии. <...> После такого выступления говорить было уже невозможно. Да и совещаться тоже. Поэтому я закрыл совет и предложил разойтись. Ко мне подошел Толя Яковсон. Он видел то же, что и я. <...> И он, подойдя, сказал: «Ну, Петр Григорьевич, после сегодняшнего совещания кому-нибудь из нас или даже обоим садиться в тюрьму. КГБ явно не хочет комитета».>>

Как можно было решиться удалить из книги эти драгоценные свидетельства? Тем более, что предсказание Яковсона сбылось в наихудшем варианте. Но продолжу цитировать издание 1981 года книги Григоренко:

«Сейчас в свободном мире и я, и Майя Улановская, и Виктор Красин, и год тому с небольшим был и мой дорогой друг Толя Якобсон. К несчастью безжалостная смерть унесла его от нас. Но нам, живым, надо кое-что выяснить. Майя Улановская пишет воспоминания. Часть уже написала. И издала. Недавно она просила у меня разрешения использовать мои письма [ПИСАВШИЕСЯ ИЗ ЧЕРНЯХОВСКОЙ СПЕЦПСИХБОЛЬНИЦЫ с очевидным расчетом на прочтение «органами». – А.Л.]. Я НЕ РАЗРЕШИЛ И НЕ РАЗРЕШУ [выделено мной – А.Л.], пока не буду уверен в том, что они будут использованы только в интересах истины. И прежде всего я считаю, что Майя обязана рассказать правду об этом злополучном совещании. Кто ее пригласил на это совещание, какие и кто вел с ней разговоры перед совещанием, что ее так возбудило, привело в то состояние, в каком она выступала [подчеркнуто мной – А.Л.]».

Этот текст в издании 1997 года опущен. Но была ли на то воля его автора?

Ответ на этот вопрос дает сама М. Улановская:

«ВСЕ ПОПЫТКИ ОБЪЯСНИТЬСЯ С ГРИГОРЕНКО ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРЕССУ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ [выделено мной – А.Л.]»

(См. Н. и М. Улановские. «История одной семьи». СПб, ИНАПРЕСС, 2003, с. 302.)

В заключение – еще две цитаты:

«П. Якир был столь крупной фигурой правозащиты, что КГБ вряд ли ограничился бы приставлением к нему одного лишь такого эпизодического наблюдателя как <...>. Кто-то более близкий и постоянно с ним общающийся должен был наблюдать за ним.»

Григоренко П.Г. «В подполье можно встретить только крыс...», Нью-Йорк, «Детинец», 1981, с. 677.

Этот текст в посмертном издании 1997 года книги П.Г. отсутствует. Зато во вступительной статье Сергея Ковалева к упомянутому изданию 1997 года сказано вполне определенно:

«Но там, куда спускался он [П.Г. Григоренко] сам, крыс не было и быть не могло.»

Может быть, данная фраза и объясняет сделанные купюры?

Февраль – декабрь 2007

* * *

Видимо, эта моя статья (точнее – ее вариант, упомянутый выше) и была причиной появления статьи М. Улановской [1]:

<http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer6/Ulanovskaja1.php>

Перед этим, однако, я получил от Майи Александровны письмо.

3. ПИСЬМО МАЙИ УЛАНОВСКОЙ

М.А. Улановская – А.А. Локшину 23.12.2007

Уважаемый Александр Александрович!

Понимаю Ваше стремление защитить память своего отца и даже то, что Вы для этой цели прибегаете к любым средствам. Однако путь, которым Вы упорно следуете: поиски «компромата» на меня, повторившей в своих воспоминаниях рассказ своей лагерной подруги об истории её ареста – путь этот ни к чему не приведёт. Вы зря тратите своё и моё время. Вот, что я писала Е. Берковичу 13 ноября в связи с этим, ознакомившись с Вашей предыдущей попыткой:

«За меня многие тогда вступились: С. Ковалёв, М. Синявская, Л. Копелев с женой Раисой Берг, но втихаря, чтобы не обижать (а после смерти не компрометировать) старика. Совсем недавно – П. Литвинов на сайте памяти А. Якобсона (который сам был свидетелем эпизода в доме Григоренко и тоже высказался об этом). И эпизод этот из следующего издания книги Григоренко – также втихаря – убрали. Так и Бог с ним».

Чтобы окончательно Вас убедить оставить эту тему, не поленилась отсканировать и привести ниже одно из писем

П.Г. Григоренко мне из Черняховской психушки, напечатанных в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1990, кн. 180, с. 254–286. [Письмо от 4.8.70 цитируется в [1], и я его здесь не повторяю. – А.Л.] Подборку его писем нашей семье я специально передала в журнал с целью защититься от его нападок в книге воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс». У него при написании книги сложилась концепция – что бороться с несправедливостью следовало открыто, а власть была заинтересована в том, чтобы всех диссидентов обвинить в подпольной деятельности. И некоторые, вроде Юлика Кима, меня, ещё кого-то, толкали движение на этот пагубный путь.

Письма журнал с благодарностью напечатал, в том числе и нижеследующее [т.е. письмо от 4.8.70 – А.Л.], где Григоренко меня явно «реабилитирует» и даже извиняется за резкость, выраженную им на том сборище. Журнал, однако, убрал, даже не потрудившись мне об этом сообщить – ту часть, где я излагала свои претензии к генералу.

Надеюсь, что Вас убедила.

Будьте здоровы,

М. Улановская

4. О ПИСЬМЕ М. УЛАНОВСКОЙ, ИЛИ ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИ

1) Прежде всего – и это главное – я рад, что мой анализ текста, приведенный выше, оказался верным. Предположение о том, что мы имеем дело с *фальсификацией*, подтвердилось в письме самой М. Улановской. (*«И эпизод этот из следующего издания книги Григоренко – также втихаря – убрали».*)

2) Мне странно, что использование брани («нелюдь», которого хотелось «раздавить») и пересказ чужих наветов [2] – это дозволенные средства, а анализ опубликованного текста – средство недозволенное.

3) Мне странно, что прямое нарушение запрета Григоренко на использование его писем из психушки – еще одно дозволенное средство. (Понимает ли современный читатель, что в андропов-

ское время из психушки можно было не выйти, а можно было выйти в виде овоща, если не дай Бог слишком далеко заглянул за кулисы?)

4) Но еще более странно, что уважаемые правозащитники, имея целью защитить М. Улановскую от критики, пожертвовали в переиздании 1997 года великолепным отрывком о Якире, чудовищно исказив рассказ Григоренко об этом дорогом для него человеке.

5) Наконец, удивительно, что люди, сокращавшие текст Григоренко, не заметили, что в результате их действий название книги, в сущности, перестало соответствовать ее содержанию.

Что касается утверждения Сергея Ковалева о том, что «там, куда спускался он [П.Г. Григоренко], крыс не было и быть не могло», то имеется рассекреченный документ за подписью Андропова, из которого следует, что С. Ковалев ошибался.

(См. Крохин Ю. Души высокая свобода: Вадим Делоне. – М.: Аграф, 2000, с.143–146).

Кто был осведомителем в группе диссидентов, близких к П. Якиру, установить, видимо, невозможно. Слишком уж изощренная техника прикрытия использовалась КГБ. Об этом в свое время писал Игорь Маслов (Новая газета, 26–28 ноября, 2001).

А вот, что возможно установить: корпоративная солидарность высокоморальных борцов против цензуры и за права человека позволяет им, не поморщившись, переехать этого самого человека. И ввести свою, правильную, цензуру.

Москва, 2008

5. ПОСТСКРИПТУМ: ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Как объяснить, что М. Улановской не удалось договориться с П.Г. Григоренко? (Решение не должно содержать ссылки на то, что «Видно, в последние годы П.Г. был очень плох» [1].)

Решение. Публикация писем П.Г. Григоренко в «Новом журнале», осуществленная М. Улановской **после смерти П.Г. Григоренко (и спустя много лет после самоубийства Якобсона)**, предваряется такими ее словами:

«Весной 1969 г. мой муж Анатолий Якобсон привел меня к Петру Григорьевичу в его квартиру у Крымского моста [подчеркнуто мной – А.Л.], где после ареста в Прибалтике бывшего председателя колхоза Ивана Яхимовича собралось несколько человек, чтобы обсудить положение. Помню, там были П. Якир, В. Красин, Ю. Телесин, Б. Цукерман <...>»

А теперь давайте вспомним слова Якобсона, которые присутствовали в прижизненном издании книги Григоренко и были удалены в посмертном: «Петр Григорьевич, я Маю не приглашал и даже не говорил ей о совещании» [подчеркнуто мной – А.Л.].»

[1] См. Улановская М. «Прискорбный эпизод» / Заметки по еврейской истории, 2008, № 6.

[2] См. Улановские Н. и М. История одной семьи. – СПб: ИНАПРЕСС, 2003, с. 242–244.

6. НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ ОТ М.УЛАНОВСКОЙ

Когда-то, разговаривая с С.С.Виленским, я услышал от него такой замечательный вопрос:

– Если кому-то нужно было скомпрометировать Локшина, то зачем было отправлять Прохорову в лагерь на десять лет? Ведь оттуда можно было просто-напросто не вернуться!

Это соображение не приходило в голову никому из моих благополучных (не сидевших) оппонентов.

Тогда я ответил Виленскому цитатой из книги Майи Улановской (с. 243):

«...при первой же возможности Вера написала сестре, воспользовавшись как шифром бытовавшим в семье жаргоном, какую роль сыграл в ее судьбе Шурик [мой отец]».

Так что Улановской – очередное спасибо.

Конечно, то, что Прохорова была практически сразу освобождена в лагерь от физических работ, дополняет этот мой ответ.

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

1. ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АНДРЕЯ САХАРОВА Ю.В. САМОДУРОВУ

Уважаемый Юрий Вадимович!

На сайте возглавляемого Вами Сахаровского центра помещена книга П.Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс...» (Нью-Йорк, Детинец, 1981), где П.Г. Григоренко весьма впечатляюще высказался о М. Улановской, чья (совместная с Н. Улановской) книга «История одной семьи» также представлена на сайте Сахаровского центра.

Как пишет сама М. Улановская, в своей книге П.Г. Григоренко придал некоему <<пустяшному эпизоду крайне злоеущий характер, намекая на мои [т.е. М. Улановской] связи с КГБ. Все попытки объясниться с Григоренко лично или через прессу ни к чему не привели.>>

Я пишу об этом неприятном обстоятельстве потому, что в книге Н. и М. Улановских на стр. 242–244 содержатся бездоказательные (причем с чужих слов!) обвинения в адрес моего отца, композитора А.Л. Локшина (1920–1987), якобы посадившего нескольких людей в сталинское время.

Абсурдность этих обвинений в настоящее время полностью доказана – см., например, мою статью «Мышеловка» в «Заметках по еврейской истории» № 13 за 2007 год. Адрес этой статьи в Интернете таков: <http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer13/ALokshin1.htm>

Добавлю, что госпожа М. Улановская, не знакомая с моим отцом, позволяет себе называть его «нелюдем», которого хотелось «раздавить». Между прочим, на Западе моего отца называют русским Малером...

Я считаю, что самое меньшее, что Вы можете сделать в создавшейся ситуации, – это написать и поместить на сайт Саха-

ровского центра Ваше личное предисловие к книге Н. и М. Улановских, высказавшись по данной проблеме и дав ссылку на мою «Мышеловку».

Искренне Ваш
А.А. Локшин, сын композитора
Москва, 20 октября 2007

2. ВТОРОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АНДРЕЯ САХАРОВА Ю.В. САМОДУРОВУ

Уважаемый Юрий Вадимович!

Мое открытое письмо Вам было вручено сотруднику Сахаровского центра для передачи Вам 2 ноября 2007 года. (Не могу себе представить, чтобы его Вам не передали.)

Однако я до сих пор не получил никакого ответа. Тему моего письма НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ НЕСУЩЕСТВЕННОЙ, и я хочу знать Ваше личное мнение об аргументах в защиту моего отца, приведенных в моей «Мышеловке».

Если мои аргументы несостоятельны и неубедительны – ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ ТАК СЧИТАЕТЕ.

Если они серьезны и заслуживают внимания – ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ЭТИМ АРГУМЕНТАМ НЕ МЕСТО НА САЙТЕ САХАРОВСКОГО ЦЕНТРА.

Может быть, кто-то из влиятельных людей оказывает на Вас давление, не разрешая отвечать на мое письмо?

Искренне Ваш
А. Локшин, сын композитора
11 декабря 2007

P.S. Слышал я недавно такое суждение: «Невозможно игнорировать доводы в защиту Локшина – ведь это такой крупный музыкант!» Я же считаю совершенно иное. Невозможно игнорировать доводы в защиту человека, независимо от того, талантливый он или бездарный, если о нем С ЧУЖИХ СЛОВ ВЫСКАЗАНО ТАКОЕ, КАК ПОЗВОЛИЛА СЕБЕ М. УЛАНОВСКАЯ. Или, может быть, Вы со мной не согласны?

3. ТРЕТЬЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АНДРЕЯ САХАРОВА Ю.В. САМОДУРОВУ

Уважаемый Юрий Вадимович!

То, что Вы упорно не отвечаете на мое письмо, полученное Вами еще 2 ноября 2007 г., является для меня прямым свидетельством убедительности моих аргументов и моей правоты.

Однако мои аргументы, приведенные в «Мышеловке», достаточные для того, чтобы снять с моего отца обвинения в доносительстве, не объясняют другого – зачем «органам» понадобилось направлять подозрения на моего отца.

Делалось это для того, чтобы прикрыть случайно засветившегося перед моим отцом агента. Подробности можно найти в последнем издании моего «Гения зла» на сайте <http://www.lokshin.org> Новые подтверждения упомянутого обстоятельства продолжают время от времени поступать.

И Вы уверены, что лубянскому сценарию место на сайте Сахаровского центра?

Искренне Ваш
А.А. Локшин, сын композитора
Москва, 8 марта 2008

4. МОЕ ПИСЬМО ЕЛЕНЕ БОННЭР И ЕЕ ОТВЕТ

Ниже я привожу свое письмо, адресованное Е.Г. Боннэр, ее ответ, а также последовавшую переписку с Сахаровским центром.

«Глубокоуважаемая Елена Георгиевна!

До меня дошел слух, что когда-то Вы прочли 1-е издание моего «Гения зла» (М., 2001) – книжки, в которой я защищаю своего отца, композитора А.Л. Локшина, от обвинений в доносительстве. Книжка эта была достаточно наивной. С тех пор я опубликовал (в частности, на портале Евгения Берковича) серию

заметок, которых ДОСТАТОЧНО ДЛЯ БЕЗОГОВОРЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА ОТ ПОДОЗРЕНИЙ. Самая важная заметка – это «Мышеловка»: <http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/Nomer13/ALokshin1.htm> однако тексты на форуме тоже существенны <...>

Тем не менее, невзирая на мои крики и стоны, обращенные к начальству Сахаровского центра, ОЧЕВИДНАЯ КЛЕВЕТА в адрес моего отца, содержащаяся в книге Н. и М. Улановских, по-прежнему размещена на сайте Сахаровского центра: [http://sakharov-center.ru/asfcd/auth/au ... 5&page=229](http://sakharov-center.ru/asfcd/auth/au...5&page=229)

Не соблюден даже минимум приличий в виде ссылки на мои тексты!

Это поразительно еще и потому, что люди, близкие к основной обвинительнице моего отца, В.И. Прохоровой, уже ФАКТИЧЕСКИ ИЗВИНИЛИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ: <http://musica.4bb.ru/viewtopic.php?id=363>

Прошу Вашей помощи.

С глубоким почтением,
А.А. Локшин, сын композитора
Москва, 5 января 2009

Через портал Евгения Берковича я получил ответ Елены Георгиевны (8 января 2009):

<< С некоторых пор я не имею никакого отношения к музею. <...> так как я не нашла адреса Александра Локинина, [прошу] довести до него, что я просила одного из членов общественной комиссии просить директора музея убрать с сайта материал, о котором Александр Локин пишет. А если шире – я всегда очень настороженно отношусь ко всяким якобы разоблачающим кого-то материалам. И в большинстве случаев не верю им.

Е.Г.>>

Вскоре после этого я заручился согласием Е.Г. Боннэр на публикацию ее ответа. Свою переписку с Еленой Георгиевной я отправил в Сахаровский центр. Вместо того, чтобы выполнить

просьбу Е.Г., книгу Улановских просто-напросто переместили на другой адрес той же библиотеки:

<https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=260>

После того как выяснилось, что Елену Боннэр обманули, я обратился через Аллу Боссарт в Сахаровский центр с глубоким недоумением по этому поводу. Ответ пришел такой (не буду уточнять, от кого именно): «Разбираться по существу никто не будет». Если Алла Боссарт этого всего не забыла, она, я думаю, сможет это подтвердить. Помню, что сама Алла (еще до получения ответа из Сахаровского центра) высказалась по этому поводу вполне определенно (за что ей большое спасибо): «Обманывать Елену Георгиевну нехорошо». Со времени обмена письмами с Еленой Боннэр появилась еще куча недвусмысленных доказательств невинности моего отца.

https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/258-odinnadcat-voprosov-synu-kompozitora-lokshina.html?_utl_t=fb

Жутковатый юмор ситуации еще и в том, что Сахаровский центр, защищая от меня Веру Прохорову (именно ее обвинения в адрес моего отца изложены в книге Улановских), «не замечает», что Прохорова в своей книге «Четыре друга на фоне столетия» (2012) обзывает Елену Боннэр «исчадием ада»:

<https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/408929-14-vera-prohorova-chetyre-druga-na-fone-stoletiya.html#book>

Комментировать это я не в состоянии...

* * *

На этом, однако, история не заканчивается. Приведенный выше текст я отправил 25 августа 2018 в Сахаровский центр и спустя четыре дня получил любезный ответ (29 авг. 2018):

«Добрый день!

Спасибо, что написали нам. Книга Улановских опубликована нами как воспоминания, а не как единственный источник правдивых сведений. Люди пишут разное, и иногда это может не совпадать с тем, что было в действительности, мы думаем, что все это понимают.

Конечно, мы готовы опубликовать и Вашу точку зрения. Не могли бы Вы прислать нам прямую ссылку на ответ Елены Георгиевны.

с уважением,
координатор Сахаровского центра
Мария Кулланда»

В этом ответе замечательны три вещи:

1) Просьба Елены Георгиевны игнорируется.

2) «Исчадие ада» игнорируется.

3) И все это – как я понял – объясняется необходимостью публиковать разнообразные точки зрения. Но М.Улановская – пойманный за руку фальсификатор мемуаров Петра Григоренко:

<http://berkovich-zametki.com/Forum2/viewtopic.php?f=7&t=319&sid=b5a2e1b25d4cd8b785014f0b77c3736a>

На этой оптимистичной ноте заканчиваю.

ДИЛЯРА ТАСБУЛАТОВА: ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ СЫНУ КОМПОЗИТОРА ЛОКШИНА

(Перепечатка из израильского еженедельника «Глобус»,
№ 1420, 2–8 января, 2020 г.)

Александр Локишин, сын известного композитора, когда-то несправедливо оклеветанного, всю жизнь борется за честное имя отца. К сожалению, в этой истории замешан не кто иной, как сам великий... Рихтер. Я понимаю, какое возмущение может вызвать эта публикация, тем не менее предлагаю вам с ней ознакомиться. По крайней мере факты там неоспоримые (опять-таки, к сожалению). Впрочем, на ваш суд.

Д.Т. Почему вы считаете Святослава Рихтера ключом к пониманию второй половины XX века?

А.Л. Понимаете, Рихтер – музыкант огромного таланта, обладает мировой известностью... Но дело не только в этом. Его влияние на интеллигенцию было и остается после его смерти очень большим. Одна милая дама писала о том (передаю смысл), что после смерти Рихтера мы осиротели, некому подавать столь высоконравственный пример и что-то еще в таком духе. Как я понимаю, в этом вопросе возникало некое долгожданное единство фрондирующей публики и официальных структур, благоволивших Рихтеру. А ключ – потому, что (это мое мнение) Рихтер работал на Лубянку. Вербуют ведь лучших, не правда ли?

Д.Т. Почему вы считает себя вправе вникать в частную жизнь этого великого музыканта, которого многие считали и считают Камертоном Нравственности и который умер и сейчас не может защититься?

А.Л. Видите ли, долгое время (несколько десятилетий подряд) Рихтер стоял во главе кампании, направленной против моего отца, композитора Александра Лазаревича Локшина (1920–1987). Моего отца обвиняли в доносительстве. Я уже больше тридцати лет занимаюсь этим делом, все время обнаруживая новые доку-

менты из которых ясно, что обвинение в доносительстве шито белыми нитками. Речь идет о спецоперации, цель которой – прикрытие действующего агента. Я не буду сейчас пересказывать все подробности из-за ограниченного объема интервью. Скажу только, что основная обвинительница, прошедшая Гулаг, подруга Рихтера – Вера Ивановна Прохорова – до конца своей жизни так и не поняла, что ее собственная мать была агентом Лубянки, что ее дядя (служебный псевдоним «Лекал») был заслуженным агентом, а ее двоюродная тетя Вера Трэйл служила в разведке... То есть эта женщина, В.И. Прохорова, жила в иллюзорном мире. Более подробно об этом можно прочесть в моем интервью журналу «Этажи» https://etazhi-lit.ru/publishing/literary-kitchen/258-odinnadcat-voprosov-synu-kompozitora-lokshina.html?_utl_t=fb, а также в моих книжках. Так вот Рихтер был одним из создателей этого иллюзорного мира. И не только для Прохоровой, а для многих, очень многих людей. Если угодно – для миллионов. Вот почему я считаю Рихтера одной из ключевых фигур для понимания послевоенной истории. [Замечу, что от своего отца я никогда не слышал ни одного худого слова о Рихтере. Впрочем, как-то раз он высказался примерно в таком духе: «У Рихтера рояль звучит как разбитая кастрюля».]

Д.Т. Перечислите ваши основные доказательства причастности Рихтера к работе на Лубянку.

А.Л. Видите ли, общеизвестно, что отец Рихтера был расстрелян как «предатель родины» в 1941 году, а его мать в 1944 году ушла с немецкими войсками на Запад. Что не помешало Рихтеру в 1945 году принять участие во Всесоюзном конкурсе пианистов и получить там первую премию (разделил первое место с фронтовиком В.К.Мержановым). Замечу теперь, что известен рассекреченный указ о выселении немцев из Москвы (1941); кроме того, недавно был рассекречен указ 1942 года об аресте членов семей «предателей родины» (см. Мозохин О.Б. Репрессии в цифрах и документах. – М.: Вече, 2018, с. 33–34). Все это Рихтера никоим образом не коснулось. Кстати, недавно мне попался рассекреченный документ (справка от 4 янв. 1942), где комендант

Москвы Синилов сообщает тов. Берия, что «За указанный период времени жилой сектор массовой проверкой документов охвачен на 100%».

См. «Лубянка в дни битвы за Москву». – М.: Звонница, 2002, с.109.

Я считаю, что уже этого достаточно, чтобы однозначно утверждать о сотрудничестве Рихтера с Лубянкой.

Но есть еще более убийственное доказательство. Документально подтверждено, что переселение Рихтера в 1941 году из одной московской квартиры в другую организовала мать Прохоровой – об этом пишет сама Прохорова, не подозревая о том, что ее мать – агент Лубянки. Рихтер всю войну прожил в московской квартире Прохоровой, но в своих мемуарах, изданных Монсенжоном, вообще не упоминает об этом, а повествует о том, как в военное время скитался – ночуя то у одного знакомого, то у другого. Иными словами, лжет с понятной целью – создать видимость того, что скрывался от властей. Да, я считаю, что переселение Рихтера – это была прекрасно спланированная лубянская спецоперация; из мемуаров Рихтера очевидно также, что он принимал в этой спецоперации вполне осознанное участие. Я об этом уже писал раньше.

Д.Т. Согласны ли вы с тем, что в истории не должно быть белых пятен? Как вы относитесь к расследованию Карагодина, установившего поименный список палачей своего прадеда?

А.Л. Конечно, белые пятна в истории – вещь скверная. Если этих белых пятен много, восприятие жизни искажается самым чудовищным образом. К расследованию Карагодина отношусь в высшей степени положительно. Люди, исполнявшие преступный приказ, – преступники.

Д.Т. Известны ли вам какие-либо предыдущие попытки рассказать о связи Рихтера с Лубянкой?

А.Л. Да, на портале Евгения Берковича была очень интересная публикация Артура Штильмана «Судьба виртуоза», где Штильман приводит слова Буси Гольдштейна, имеющие как раз тот самый смысл.

Д.Т. Почему статья Артура Штильмана не имела успеха, не была воспринята широкой публикой? Чем ваше расследование лучше?

А.Л. Понимаете, статья Штильмана – бесценна, как свидетельство очевидца. Он говорил на эту исключительно важную и опасную тему с самим Бусей Гольдштейном, великим скрипачом... Но в этом и слабость позиции Штильмана. Я слышал такие отзывы о его статье: «Штильман что-то перепутал или недопонял». А один восторженный обожатель Рихтера назвал этот эпизод из статьи Штильмана «хренью». Вот как. Свидетельство очевидца (если оно правдиво) обретает свою силу, когда оно подтверждается какими-то объективными данными. А мое расследование – в том, что касается Рихтера, – практически целиком состоит из опубликованных рассекреченных документов и ссылок на воспоминания друзей Рихтера, т.е. основано именно на объективных данных.

Д.Т. В чьи судьбы, кроме судьбы вашего отца, вмешивался Рихтер?

А.Л. Как я понимаю, не обошлось без вмешательства Рихтера в судьбу Буси Гольдштейна (сломана мировая карьера) и еще в судьбу певца Миши Райцина (тоже сломана карьера); см. статью Штильмана. Вот еще интереснейший пример.

Сейчас, после публикации переписки Бориса Пастернака с его первой женой в «Новом литературном обозрении» (1998), статьи В.А.Гевиксмана (2002), книг Григория Гордона (2007) и Елены Федорович (2007), уже стало общеизвестным, что от гибели в тюрьме и лагере Генриха Нейгауза спас Эмиль Гилельс, причем с риском для собственной жизни.

Наверняка ближайшему окружению Нейгауза все это было прекрасно известно еще в сороковые годы. В этой связи Григорий Гордон пишет вполне определенно: «То, что он [Рихтер] был не осведомлен, – исключено». Этот момент оказывается ключевым для понимания дальнейшего. Вот, что пишет В.А. Гевиксман в своей статье:

«Нейгауза спас Эмиль Гилельс. Замечательный пианист, ученик Нейгауза, Эмиль Григорьевич Гилельс рассказывал мне,

что бывал частенько приглашаем “великим вождем всех народов” на приемы иностранных гостей из стран-союзников. “Великий” услаждал игрой Гилельса важных гостей, демонстрируя им свой высокий вкус к классической музыке. После этого он обычно спрашивал пианиста: “Как живете? Если есть какие-либо просьбы, нэ стэсняятэс! Поможэм!” Гилельс обычно отвечал: “Спасибо! Все хорошо”. Но здесь он решился... “Товарищ Сталин! У меня есть старый учитель. Он наш, советский человек. Но недавно он по глупости обронил дурацкую фразу. Спасите его от тюрьмы...”. “Великий” нахмурился... Он был недоволен. “Хм... у вас есть старый учитель, обронивший глупую фразу. Хорошо. Я постараюсь помочь вашэму старому учитэлю”...»

Приведу теперь слова Рихтера, содержащиеся в книге Монсенжона: «Его [Г.Г. Нейгауза] обвинили в умышленном сокрытии своего немецкого происхождения и посадили в тюрьму. Но в нем было столько обаяния, что ему удалось смягчить даже эти инстанции. Через два месяца его выпустили и эвакуировали в Свердловск...»

На мой взгляд, со стороны Рихтера это выдающаяся подлость. [Общеизвестно, что Гилельс, как пианист, был счастливым соперником Рихтера.] А то, что Рихтера до сих пор принято считать своего рода Эталонем Нравственности – ментальная катастрофа.

Д.Т. Появились ли за последнее время какие-то новые свидетельства или документы, подтверждающие вашу позицию?

А.Л. Кое-что обнаружилось. Вот что писала Лидия Чуковская 27 сентября 1956 года в своих «Записках об Анне Ахматовой»:

«Потом, накануне отъезда Анны Андреевны в Ленинград, я встретилась с ней у Наташи Ильиной, и Анна Андреевна рассказала нам о блестящем светском собрании на даче [Пастернака]: до обеда РИХТЕР [выделено мной], после обеда – Юдина, потом читал стихи хозяин.

– Недурно, – сказала я.

– А я там очень устала, – ответила Анна Андреевна. – Мне там было неприятно, тяжело. Устала от непонятности его отноше-

ний с женою: «мамочка, мамочка». Если бы эти нежности с Зиной означали разрыв с той <...> так ведь нет же! и ничего не понять... Устала и от богатства. Устала от того, что никак было не догадаться: КТО ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СТУЧИТ? [выделено мной – А.Л.]»

Вот мой комментарий. В интеллигентской среде, как известно из диссидентской литературы, в те годы «стучал» примерно каждый пятый. Вероятно, бывали компании, в которых не стучал никто. Но в окружении знаменитостей – как считает Ахматова (и я с ней солидарен) – так быть не могло. Думаю, что загадку Ахматовой в настоящее время можно считать решенной.

Интереснейшее свидетельство опубликовал совсем недавно в фейсбуке известный фотограф Никита Ситников. «В 1962 или в 63 я был в Риге свидетелем “унижения” Рихтера. Вернее, он сам себя ставил так. Внешне он был тучным и некрасивым, в той среде его никто не знал. Он заискивал в самом непотребном месте перед юными и молодыми. Я всё это видел своими глазами. Мне его было жалко. Спустя много времени, мой отец познакомил меня с ним на репетициях “Декабрьских вечеров” в Изобразительном музее им. Пушкина. Там всё читалось невооруженным взглядом. Возможно, он мог работать на Лубянку, его вполне могли прижать за его “грехи”».

* * *

После недавно изданных книг Е.Н. Федорович и Г.Б. Гордона об Эмиле Гилельсе можно считать документально доказанным, что уже после смерти Сталина, в советское время власть методично ставила палки в колеса Гилельсу – основному музыкальному сопернику Рихтера. Освобождая тем самым (в глазах советских граждан) для Рихтера место Единственного Великого Пианиста, гастролирующего сначала по странам соцлагеря, а затем и по всему миру. Казалось бы, такое невозможно в принципе – власть зачем-то протезирует очевидному, стопроцентному будущему невозвращенцу. (Как если бы в космос вместо Юрия Гагарина отправили открытого гея, женатого фиктивным браком, у которого отец расстрелян как шпион, а мать бежала на Запад.) Какое объяснение этому я вижу – см. выше.

РИХТЕР И СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. НЕВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Листая последнюю книгу Г.Б. Гордона «Музыкальные Лабиринты. Эмиль Гилельс», я наткнулся на удивительную ошибку...

Цитирую (с. 279–280):

«Никто не сомневается: Рихтер был одарен сверх меры и обладал чудовищной работоспособностью. Но хватило бы только этого, чтобы стать пианистом “№1”?! Не иначе, – в наших-то условиях – сыграло роль что-то еще, но что?! Все хранилось за семью печатями.

Но вот совсем недавно вышла мемуарная книга Андрея Гаврилова; в ней масса сведений самого разного свойства. Сначала я думал обратиться исключительно к характеристикам игры Рихтера, которые дает Гаврилов. Но сейчас вижу: тема требует более широкого подхода.

Продолжаю. Непонятным образом Рихтер, чей отец был репрессирован, расстрелян, а мать ушла с немцами после их отступления, продолжал беспрепятственно концерттировать, разве что ему был заказан выезд за рубеж, кроме стран социалистического лагеря.

В чем же дело? Ведь в Советском Союзе человек с такой анкетой был обречен... Здесь-то нам и понадобится Андрей Гаврилов. Прочтем: [начало цитаты в цитате] «...Слава два раза процедил мне одну и ту же фразу: “Молодая госпожа, как мне говорили, почему-то увлеклась моими концертами, и это, кажется, спасло меня от многих неприятностей”. Рихтер имел в виду Светлану Аллилуеву, дочь Сталина, которой в 1941 году было пятнадцать лет. Тем не менее Светлана уже тогда встречалась с Каплером, который культурно развивал ее, таскал на интересные концерты. Судя по ее поздним воспоминаниям, Сталин ее безумно любил, она поделилась с отцом своим восхищением от игры Рихтера, и Сталин кому-то что-то шепнул. И Рихтер получил невидимую, но самую надежную в СССР защиту». [конец цитаты в цитате].

Стал понятен, в частности, и такой эпизод: «благоволение верхов» к Рихтеру началось давно. Вспоминая конкурс 1945 года, Рихтер поведал Монсенжону: «Позднее председатель жюри Шостакович рассказывал мне, как ему звонил Молотов: “Вы боитесь дать первую премию Рихтеру? Принято решение дать вам на это разрешение, ничего не бойтесь”».

А бояться было чего. Представьте: 1945 год – и первая премия у немца; можно отважиться на такое?»

Теперь мой комментарий к этой, в сущности, ключевой для понимания событий цитате из книги Г.Б. Гордона.

В приведенной Г.Б. Гордоном цитате из книги Гаврилова содержится ошибка. Светлана Аллилуева познакомилась с Каплером не в 1941 году, а по крайней мере на год позже (см. книгу Аллилуевой «Двадцать писем к другу»:

«В ту же зиму 1942–43 года я познакомилась с человеком, из-за которого навсегда испортились мои отношения с отцом, – с Алексеем Яковлевичем Каплером» [1].

Напомню, что осадное положение было введено в Москве 20 октября 1941 года, а приказ о переселении немцев был издан еще раньше – 8 сентября 1941 года. Таким образом, история с переездом Рихтера из одной московской квартиры в другую (под руководством матери В.И. Прохоровой – сотрудницы «органов») и тот факт, что Рихтер – фактически, не скрываясь, – уцелел в Москве после депортации немцев, не может быть объяснен способом, предложенным самим Рихтером. Иными словами – Рихтер солгал, а Андрей Гаврилов и Г.Б. Гордон ему поверили. Я вижу только одно объяснение изложенным фактам: работа Рихтера на Лубянку.

[1] Впервые Каплер и Светлана Аллилуева встретились в конце октября 1942 года (см. Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. – М.: Книга, 1991, с.163).

СКРЫТАЯ ПРУЖИНА (НЕЙГАУЗ ПРОТИВ ВЕДЕРНИКОВА)

<<Как-то раз вечером <...> [Шостакович] с Нейгаузом сидели рядом в концерте, где исполнялась не знаю уж какая симфония, скверно дирижируемая Александром Гауком. Склонившись к уху Шостаковича, Нейгауз шепнул: «Дмитрий Дмитриевич, по-моему, это ужасно!» Шостакович повернулся к нему со словами: «Вы правы, Генрих Густавович! Великолепно! Дивно!»>>

(См. Монсенжон Б. «Рихтер. Диалоги. Дневники». – М.: Классика-XXI, 2007, с. 100)

Эта заметка – о том, что в высокоразвитом тоталитарном обществе человеческая жизнь построена на необычайных, во многом еще не понятых психологических принципах. Я бы сравнил эту жизнь с существованием глубоководных рыб, способных выдерживать немыслимое давление. Поразительно, что этот феномен в мемуарной (не лагерной) литературе совершенно не исследован. Более того, этот феномен не осознается большинством мыслящих людей. Но отчего же так происходит? Как говорят физиологи, то, что мы видим вокруг себя, в громадной степени есть продукт наших предшествующих представлений. И если этим представлениям систематически мешают формироваться, то мы оказываемся, в сущности, слепы.

* * *

Уже после смерти моего отца пианист Анатолий Ведерников как-то раз специально приходил к другу отца М.А. Мееровичу и настойчиво убеждал его в том, что «это Локшин посадил Прохорову». Тут надо сказать, что в сороковые годы Ведерников был дружен с моим отцом и, будучи также близким другом Рихтера, часто бывал в доме их общей приятельницы Веры Прохоровой, арестованной в 1950 году. (Надеюсь, что абсурдность обвинений в адрес моего отца читателю очевидна.)

А вот другой случай. В начале восьмидесятых в нашем доме появился приехавший из Новосибирска музыковед Карпинский, желавший изучать музыку моего отца. До этого он уже успел узнать от Анатолия Ведерникова, который был в Новосибирске на гастролях, что «Прохорову посадил Локшин».

А вот еще случай. В семидесятые годы на мехмате МГУ вместе со мной училась Вера Леонтович, дочь академика М.А. Леонтовича. Спустя много лет она рассказала мне, что у них дома собирался семейный совет: можно ли ей общаться со мной – сыном нелюдя? Позднее я прочел книжку, посвященную памяти Ведерникова, откуда узнал, что он был другом ее брата, физика А.М. Леонтовича.

А еще – насколько я понимаю, ученики Анатолия Ивановича (и, в частности, влиятельный Виктор Суслин) разделяли взгляды своего учителя (со всеми вытекающими отсюда для моего отца последствиями).

Поэтому, я думаю, простителен мой интерес к пианисту Ведерникову. В конце концов, его история – это контекст истории моего отца.

Итак,

Цитата первая

<<Обычно каждый день приходил к нам <...> Толя Ведерников, ученик отца [т.е. Г.Г. Нейгауза], талантливейший музыкант. Он был вундеркиндом в Харбине, концертировал мальчиком в Японии, в 1936 году шестнадцатилетним решил учиться у Нейгауза, приехал с родителями в Москву и поступил в консерваторию. Вскоре [его] родителей арестовали, и Толя остался один. ПАПА СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ОН МОЖЕТ СЧИТАТЬ НАШ ДОМ СВОИМ ДОМОМ [здесь и далее все выделения в тексте сделаны мной – А.Л.]. С тех пор Толя подружился со всеми обитателями нашей квартиры и стал регулярно бывать у нас.>>

Нейгауз М.Г. «Святослав Рихтер в семье Генриха Густавовича Нейгауза» / Вспоминая Святослава Рихтера. – М.: Константа, 2000, с. 30.

Цитата вторая

<<НЕЙГАУЗ ПРИНЯЛ ЕГО [т.е. Анатолия Ведерникова] В КЛАСС И ВСЕЙ ДУШОЙ БЫЛ РАСПОЛОЖЕН К НЕМУ. Анатолий сразу почувствовал в Генрихе Густавовиче исключительную личность, человека, который поднимет для него занавес в мир искусства, раскроет ему то, о чем он только подозревал <...>. Генрих Густавович, желая раскрыть своему ученику музыку глубже, часто философствовал на уроках. Он всемерно развивал в нем любовь к другим искусствам – к поэзии, живописи, архитектуре. Проводил аналогии с явлениями природы, особенно много говорил о духовной жизни.>>

Ведерникова О.Ю. «Анатолий Ведерников»/Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002, с. 22–23.

Цитата третья

<<Наступил 1940 год. НЕЙГАУЗ РЕШИЛ ПОКАЗАТЬ ПУБЛИКЕ ДВУХ СВОИХ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНИКОВ [Рихтера и Ведерникова]. Они выступили в Большом зале консерватории, сыграв Двойной концерт Баха C-dur. [Затем сыграли] Рихтер – Концерт Шумана, а Ведерников – Концерт Равеля G-dur. Дирижировал Николай Аносов. Концерт прошел с огромным успехом. В газете «Правда» от 27 апреля 1941 года появилась [восторженная] рецензия. >>

Ведерникова О.Ю. «Анатолий Ведерников», с. 25–26.

Цитата четвертая

(из письма Г.Г. Нейгауза – Б.С. Маранц и С.С. Бендицкому. Москва, 11 октября 1941 г.)

<< ТОЛЯ [ВЕДЕРНИКОВ] И СЛАВА [РИХТЕР] ЧУДНО ИГРАЮТ. На молодежь война все-таки не так действует, как на меня, старика. Недавно состоялся мой «доклад» в ВТО о Шимановском, потом играли я, Толя и Слава. Слава играет гениально.>>

Цит. по: Нейгауз Г.Г. Письма. – М.: Дека-ВС, 2009, с. 245.

Цитата пятая

<<Г[енрих] Г[уставович] был арестован 4 ноября 1941 года. <...> Г.Г. был искренним и открытым человеком, высказывал свои мысли многим людям – некоторые из них писали доносы. Когда следователь прочел ему ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОНОСОВ, Г.Г. сказал 3 декабря [1941 года] (в изложении следователя):

«Убедившись в наличии у следствия материалов, я твердо решил дать развернутые показания о своей антисоветской деятельности, которая выражалась в моих антисоветских настроениях и высказываниях» <...>

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 28 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА.

10 ЧАСОВ УТРА. <...>

Вопрос [следователя]: Назовите лиц, при которых вы высказывали свои антисоветские настроения и обстановку, в которой это происходило.

Ответ [Г.Г. Нейгауз перечисляет: Нейгауз М.С., Рихтер С.Т., Ведерников А.И., три сестры Блуменфельд, Яков Зак, Эмиль Гилельс, сослуживцы]. <...>

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25 МАЯ 1942 ГОДА.

На основе поступивших в НКВД СССР агентурных данных [т.е. данных, полученных от ВНЕДРЕННОГО АГЕНТА] о том, что Нейгауз Г.Г. занимается антисоветской агитацией, высказывает намерение дожидаться прихода немцев и по этой причине отказался от эвакуации из гор. Москвы, Нейгауз 4.11.41 был арестован и привлечен к уголовной ответственности. <...>

Сознался частично. Изобличается агентурными материалами. <...> >>

См. Нейгауз М.Г. «История ареста Генриха Густавовича Нейгауза: воспоминания дочери». – М.: Ньюдиамед, 2000, с. 10, 17–20.

Цитата шестая

<< Девять месяцев просидел Генрих Густавович в одиночной камере <...>. Многие известные музыканты, среди них Э. Гилельс, видные ученые ходатайствуют о его освобождении.

Хлопоты увенчались успехом, что для того времени было немислимо. Нейгауза освободили, но обвинения с него не сняты, он должен уехать в ссылку. Анатолий [Ведерников], узнав, что Генрих Густавович уже дома, сейчас же приехал к нему.>>

Ведерникова О.Ю. «Анатолий Ведерников», с. 28.

Цитата седьмая

<< Г.Г. был выпущен из тюрьмы 19 июля 1942 года. Через три недели Г.Г. был отправлен в ссылку в Свердловскую область. <...> Осенью 1944 года Г.Г. приехал в Москву как член жюри смотра молодых музыкантов. Группа деятелей искусств написала ходатайство о том, чтобы Г.Г. разрешили остаться в Москве [разрешение было получено, Нейгауз вернулся к преподаванию в Московской консерватории – А.Л.] .>>

Нейгауз М.Г. «История ареста ...», с. 21–22.

Цитата восьмая

<< В ноябре 1945 года объявляется всесоюзный конкурс. Рихтер и Ведерников намереваются принять в нем участие. Тогда, сразу после войны, играть было почти некому. Казалось, и конкурентов-то практически нет. Анатолий показывает себя очень хорошо. Каких-то неудач у него вообще не бывало, но ПРОИСХОДИТ НЕЧТО НЕОБЪЯСНИМОЕ. А. ВЕДЕРНИКОВ НЕ ПРОХОДИТ НА 3-Й ТУР И НЕ ПОЛУЧАЕТ ДАЖЕ ДИПЛОМА. Первое место делят между собой С. Рихтер и В. Мержанов, остальные места распределяются среди пианистов, теперь уже давно не играющих или ныне никому не известных. ТРУДНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, КАК МОГЛО ЖЮРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ Д.Д. ШОСТАКОВИЧЕМ, ОТЛИЧНО ЗНАВШИМ ВЕДЕРНИКОВА КАК ТАЛАНТЛИВОГО, БЛЕСТЯЩЕГО ПИАНИСТА, ПОСТУПИТЬ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ – ТАК ПРЕДАТЕЛЬСКИ ПОГУБИТЬ ЕГО.>>

Ведерникова О.Ю. «Анатолий Ведерников», с. 30–31.

Эти яростные строки, очевидно, представляют собой обвинение, адресованное Ольгой Юльевной прежде всего персонально Шостаковичу. Вполне возможно, однако, что ее гнев был направлен по неверному адресу. Что касается реакции Нейгауза на несправедливость жюри, то некоторое суждение об этой реакции можно вынести на основании его письма своей ученице и близкому другу, педагогу Свердловской консерватории:

Цитата девятая

(из письма Г.Г. Нейгауза – Б.С. Маранц; конец января 1946 г.)

<<Дорогая Базя! Спасибо за Твои милые письма, в особенности за упоминание об истине. Если тебе попадетсЯ «Советское искусство», почитай там мою статейку о Святославе [Рихтере], здесь всем очень понравилось, но я огорчен [!], что самое лучшее – цитату из Пастернака почему-то упразднили. ЕЩЕ РАЗ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ПОБЕДОЙ ЮРЫ [МУРАВЛЕВА]. (На Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в 1945 г. первые премии получили С.Т. Рихтер и В.К. Мержанов, третью – Ю.А. Муравлев. – Прим. составителя собрания писем Г.Г. Нейгауза). ПРИЯТНО, ЧТО ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИЛ НА НЕГО ШОСТАКОВИЧ. Твои планы насчет Юры считаю совершенно правильными и поддерживаю. Надо будет только их точно претворить в жизнь. Главная забота должна быть о его здоровье, которое вызывает опасения. [Далее Г.Г. Нейгауз довольно подробно пишет о предстоящих концертах и каникулах, задает своей корреспондентке вопрос об аспирантуре. – А.Л.] Сейчас спешу очень, потому коротко. Масса дел, хлопот, учеников и т.д. и т.д. Как всегда. Жить некогда! СТАСИК ТОЖЕ МЕНЯ РАДУЕТ, НЕ ТОЛЬКО МОИ УЧЕНИКИ [?!] < ...> >>

Цит. по: Нейгауз Г.Г. Письма. – М.: Дека-ВС, 2009, с. 283.

О Ведерникове в этом письме – ни слова, что, пожалуй, поразительно.

Вообще, приподнятый, почти эйфорический тон процитированного письма Нейгауза и благодарность, высказанная им в адрес Шостаковича, и то, что «Стасик тоже меня радует, не толь-

ко мои ученики» – все это странно контрастирует с тяжелейшим поражением его любимого ученика. (По словам И.Л. Кушнеровой, присутствовавшей на объявлении результатов второго тура в Большом зале Консерватории, Ведерников был «просто убит».) На мой взгляд, основным содержанием процитированного выше письма является именно **КРИЧАЩЕЕ ОТСУТСТВИЕ УПОМИНАНИЯ О ВЕДЕРНИКОВЕ – НИ ОДНОГО СЛОВА СОЧУВСТВИЯ В ЕГО АДРЕС.**

Цитата десятая

<<А[натолий] В[едерников]. <...> Я всегда считал, что мне немножечко не везет. Вот был Первый Всесоюзный конкурс, когда Мержанов и Рихтер получили первые премии, я же на третий тур не прошел. **НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ.**

А[натолий] Ш[елудяков]. Не могли припомнить [арестованных] родителей или что-нибудь такое?

А[натолий] В[едерников]. **НЕТ. [Как это можно было узнать?! – А.Л.]** Считают, что я там играл удачно, но там надо было дать кому-то из Прибалтики премию или кому-то еще...

А[натолий] Ш[елудяков]. Конкурсы – это всегда политика.

А[натолий] В[едерников]. И я, в общем, выпал. Это случилось на отношении ко мне Москонцерта, потому что они долгое время оставляли меня в «антураже», и если бы не Александр Александрович Холодилин из Министерства культуры СССР, который мне очень помог, я бы, наверное, из этого не выбился.>>

Беседа с А.И. Ведерниковым / Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002, с. 57.

Цитата одиннадцатая

<< Кстати, Нейгауз неприятную написал книгу [о какой книге идет речь, мне так и не удалось выяснить – А.Л.]. Его текстами я был возмущен предельно. <...> **В СВОЕЙ КНИГЕ ОН ПРИНИЖАЕТ ТАЛАНТ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ПИАНИСТА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ВЕДЕРНИКОВА. ТАМ ЖЕСТО-**

ЧАЙШАЯ КРИТИКА В ЕГО АДРЕС... Кстати, после войны, которую Нейгауз провел в Свердловске [! – А.Л.], встал вопрос, кто же будет у него ассистентом в Московской консерватории. Он пригласил человека, который вопреки традиции не был концертирующим пианистом. Хорошего теоретика, но не пианиста. А Ведерников попал в консерваторию, только когда я получил здесь кафедру. Все потому, что Ведерников представлял школу исполнительства, отличную от школы Нейгауза.>>

Мержанов В.К. «Музыка – взволнованная речь» / Интервью газете «Завтра», 1.04.2003.

Цитата двенадцатая и последняя

<< Теперь я могу закончить мой автобиографический эскиз. С начала будущего (1960/61) учебного года я сокращу мою работу в консерватории раза в три-четыре, так как вышел на пенсию. Но связь с моими учениками, которых люблю, не потеряю. Мне хорошо помогают в работе мои три помощника и бывших ученика: «полный» ассистент Л.Н. Наумов и два «полуассистента» (на полставки) – Е.В. Малинин и мой сын С.Г. Нейгауз. До них прекрасно помогала мне безвременно погибшая от рака моя бывшая ученица Татьяна Хлудова.

< ...> И, главное, мне хочется хотя бы в общих чертах записать то, что я продумал, прочувствовал и частично проделал в моей жизни, а также – что жизнь проделала со мной... >>

Нейгауз Г.Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. – М.: Классика-XXI, 2000, с. 40.

* * *

Как известно, Анатолий Ведерников ОТКАЗАЛСЯ ПИСАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЙГАУЗЕ (см. цитированную выше книгу о Ведерникове, с. 151). Кто и почему встал на пути пианистической карьеры талантливого Ведерникова, я думаю, не такая уж сложная загадка...

Москва, 2007–2010

P.S. В феврале 2018 эта загадка разрешилась (по крайней мере, отчасти). От Анжелики Огаревой я узнал, что именно Нейгауз поставил Ведерникову на Первом Всесоюзном конкурсе низкий балл. (Она узнала об этом от Арно Бабаджаняна, а кроме того, от жены Хренникова, которой все рассказал Шостакович.)

P.P.S. Я говорил (в 2007 году) с В.К. Мержановым по телефону, и он подтвердил мне, что его интервью газете «Завтра» от 01.04.2003 – не первоапрельская шутка. На мой вопрос о том, какую книгу он имел в виду, Виктор Карпович ответил: «Да вот она, стоит у меня на книжной полке». Если бы я был настойчивее в своих расспросах, то, возможно, выяснилось бы, что речь идет не о книге, а о выступлении или о частной беседе. Бывает, что память подводит людей, искажая второстепенные детали.

Я ОБЯЗАН БЫЛ ЭТО СКАЗАТЬ

Напомню вначале суть дела. Произошел яростный конфликт между моим отцом и его ближайшей приятельницей. По-видимому, это случилось весной 1949 года. Мой отец обрушился на свою приятельницу, обвинив ее в сотрудничестве с «органами». Сейчас я уже не помню точно, что именно этому предшествовало (он мне рассказывал обо всем этом 50 лет тому назад): кажется, он встретил человека в соответствующей форме, выходящего из ее квартиры. И вот, в ответ его приятельница сказала ему: «Я не человек, я труп», а потом потребовала от моего отца молчания, угрожая пересажать всю отцовскую семью, если он посмеет открыть рот. Надо сказать, что отец в то время часто оставался ночевать у этой своей приятельницы, хранил у нее свои сочинения. И он, бросив свои ноты, в какой-то момент бежал от нее. ... Хотя отец и не называл мне имя этой дамы, оно было прекрасно известно моей матери.

В результате имя этой женщины не было секретом и для меня – речь идет о Надежде Ивановне Катаевой-Лыткиной. Она, кстати, пыталась познакомиться со мной: первый раз – на концерте, по-моему, в Рахманиновском зале, в присутствии обоих моих родителей. Какое сочинение моего отца тогда исполнялось – увы, не помню. Второй раз – через несколько дней после похорон отца она позвонила, представилась («Я училась с вашим отцом в одном классе, и мы сидели за одной партой») и спросила:

– Ваш отец что-нибудь рассказывал вам обо мне?

– Нет, – ответил я, – он никогда ничего мне о вас не говорил.

Третья попытка Катаевой-Лыткиной была вот такая. Через музыковеда Игоря Карпинского она передала, что у нее имеются ранние сочинения моего отца (в том числе одно, если не ошибаюсь, посвященное ей самой). И что она готова передать их, но только не через Карпинского, а лично мне из рук в руки. Я отказался. Переговоры мои с Катаевой-Лыткиной тянулись долго, чуть ли не целый год. Ее неизменное условие было: передать эти сочинения она может только мне самому, а не через посредника.

Но я отказывался с ней встречаться. В результате сочинения эти пропали – были уничтожены пожаром или еще что-то такое с ними случилось, точно не помню (рассказал мне и моей матери об этом все тот же Карпинский).

Почему я отказался получить сочинения своего собственного отца у Катаевой-Лыткиной? От страха. Я ее боялся. Мы с ней, как я полагал, представляли очевидную опасность друг для друга.

Добавлю еще, что (вскоре после смерти отца) она прислала мне письмо, в котором называла мою мать «чаровницей» (что меня покорило) и призывала беречь музыкальное наследие моего отца, «не забывая при этом того страшного, что произошло». Письмо это буквально жгло мне руки, и я его уничтожил, о чем не жалею.

Катаева-Лыткина оказалась, к нашему удивлению, ближайшей подругой Веры Ивановны Прохоровой. Потом мы (я и моя мать) передали Прохоровой через Карпинского, кем является, по нашему мнению, Катаева-Лыткина. От Прохоровой пришел ответ (снова через Карпинского, который в то время периодически навещал то Прохорову, то нас). Ответ заключался в следующем: если мы не прекратим порочить эту святую женщину, то она (Прохорова) расскажет всему свету, кто такой Локшин (мерзавец, стукач и др.). На самом же деле Прохорова этим и так давно уже занималась – и помощников у нее хватало.

Тут уместно заметить, что (а) мать Прохоровой была агентом НКВД и что (б) Прохорова этого не понимала (и то и другое документально подтверждено [1]). Что отчасти характеризует уровень адекватности Веры Ивановны.

Протицирую теперь два письма, из которых следует, что мой отец, говоря о «трупце», имел в виду именно Н.И. Катаеву-Лыткину.

Цитата 1. (Отрывок из письма моего отца И.Л. Кушнеровой, 19 сент. 1949) [2, с. 78]

«*В Москву приехал Володя Неклюдов* [по неподтвержденным данным он впоследствии покончил с собой – А.Л.] , *кото-*

рый в Новосибирске был организован трупом с феерическим блеском. Труп вернулся и собирается восстановить нормальные отношения со мной. Князь приобрел себе белый плащ и теперь ни дать ни взять – Петроний Арбитр. Одев плащ, он, вероятно, с успехом заменяет меня.»

Цитата 2. (см. [3, с. 153])

«Однажды князь – Игорь (муж мой) и Анатолий [Ведерников] необычно повздорили.»

Прежде чем двигаться дальше, хочу процитировать книгу Евгении Альбац [4, с. 57]:

Цитата 3.

«За 8 лет моей работы от вербовки отказался один студент. Хотя я и пугал его неприятностями. А план по вербовке у меня был 4–5 человек в год», – рассказывал Орехов.

...Это тот самый Орехов, который отсидел 8 лет в лагерях, за то, что предупреждал диссидентов о грозящих им обысках и арестах.»

Подчеркну, что в вышеприведенной цитате речь идет о вегетарианских брежневских временах. Отказался от вербовки один человек из тридцати-сорока (!).

Отказы от вербовки во время сталинского террора были, вероятно, намного большей редкостью.

Цитата 4. (см. [5], с. 143).

«После войны Синявский вынужден был подписать документ, согласно которому становился осведомителем НКВД. (В то время отказ был равносителен самоубийству.)»

Приведу еще отрывок из интервью Михаила Калика, арестованного в 1951 году.

Цитата 5. (Журнал «Лехаим», май 2014, № 265)
<http://lechaim.ru/events/michail-kalik/>

«Настоящая моя академия – это тюрьма и лагерь. Если ты их проходишь и остаешься самим собой, это победа, настоящая, кто бы что ни говорил. Да, у меня тоже бывали слабости, но я их победил. А этот человек, который нас сдал, –

не победил. Лева Головчинер его звали. Умница, несчастный мальчик. Его родители то ли погибли в лагерях, то ли их расстреляли, он жил с теткой и мечтал поступить на юрфак МГУ. Его вызвали в органы и сказали: если не будет доносить на нас, пойдет вслед за родителями. А так — поступит в университет. Потом, когда я уже женился, мы с ним жили недалеко друг от друга. И почти каждый день мы видели, как он шел с молочной кухни с этими бутылочками – у него был маленький ребенок, – и я говорил жене: “Смотри, Лева Головчинер идет”. Он женился, как мы тогда говорили, на «ансамбле “Березка”» и был хорошим папой. И несчастным человеком. Вы поймите, мой папа умер своей смертью, я его хоронил, а у него – нет. И как я после этого мог его бить? Меня потом тоже вызывали, уже после освобождения, чтобы сделать из меня стукача. Конечно, я испытал страх, но уже не было Сталина. И я им сказал: “Разве я так плохо вел себя в лагере, что вы мне это предлагаете?” И они отстали от меня».

Теперь вернусь к основной теме этой заметки.

Катаева-Лыткина внешне почти не участвовала в кампании, направленной против моего отца. Есть только маленький абзац в ее уже цитированной статье, где она пишет о вербовке во время террора, и этот небольшой отрывок, на мой взгляд, весьма интересен.

Цитата 6. (См. [3, с. 159]).

«Много болтали лишнего. Ничего хорошего из этого не вышло. Верочку Максимову арестовали первой [это случилось в 1944 году – А.Л.]

* * *

Нас всех “вызывали”. Каждый выдержал это испытание по-своему. Вызывали и Анатолия Ивановича [Ведерникова]. Угрожали сослать в Среднюю Азию. Он выстоял. Отказался. Никуда не сослали.

“Мефистофель” [Локшин] попал в собственный капкан.»

На первый взгляд, написано убедительно и достойно. Никаких лишних деталей, к которым можно прицепиться. Впрочем, при более внимательном чтении кое-что обнаруживается...

Прежде всего, вместо «Отказался» должно (при минимальных требованиях к объективности) стоять: «Он сказал мне, что отказался».

Но это мелочи.

Нетрудно понять, что наименьшее обвинение, которое можно было предъявить «вызываемым» – это обвинение в недоносительстве.

В результате Катаева-Лыткина предлагает нам, по сути дела, согласиться со следующим чудом во время террора:

Отец Анатолия Ведерникова арестован и расстрелян как «шпион» (1937).

Мать арестована (1937) и приговорена к 8 годам заключения как ЧСИР.

Брат отца арестован и расстрелян как родственник шпиона.

Сестра матери арестована и выслана на 8 лет. Ее муж арестован и расстрелян (1937) (см. [6], с.24).

Недоносительство.

Отказ от вербовки.

В комсомоле не состоял, общественной нагрузки не имел (см. [7], с. 171).

В 1941 году записался в ополчение, но опоздал из-за задержки транспорта, отряд ушел без него (см. [6], с. 28). [Неявка записавшихся в ополчение приравнивалась к плену. См. Млечин Л.М. Один день без Сталина. – М., 2012, с. 240].

В 1942 году (в разгар войны) женился на немке Ольге Юльевне Геккер, которую случайно (?) не депортировали. (См. [6], с. 29)

И в качестве результата – ничего...

Кстати, «угрожали сослать» – выглядит неправдоподобно, когда у «органов» была очевидная возможность угрожать арестом.

На мой взгляд, поверить в такое благодное чудо невозможно.

Тем более, что:

Нейгауз, как я полагаю, считал Ведерникова виновным в своем аресте (см. [1], с. 97). Впрочем, это всего лишь мое мнение. И даже если я прав, сам Нейгауз мог ошибаться.

Но это не все.

Цитата 7. (См. [8], с. 57)); эту цитату я уже приводил выше, в главе «Скрытая пружина». Но сейчас она мне снова нужна:

«Анатолий Ведерников: Вот, был Первый Всесоюзный конкурс [в 1945 году], когда Мержанов и Рихтер получили первые премии, я же на третий тур не прошел. Не знаю, почему.

Анатолий Шелудяков: Не могли припомнить [арест, расстрел] родителей или что-нибудь такое?

Анатолий Ведерников: Нет. [Совершенно непонятно, как это можно было узнать, не имея тесной связи с “органами”. – А.Л.] *Считают, что я играл удачно, но там надо было дать кому-то из Прибалтики премию, или еще кому-то».*

Жутковатый ляпсус, допущенный Ведерниковым, заметил не только я. В [9] неудача Ведерникова на конкурсе объясняется именно тем, что он – сын репрессированных родителей. Впрочем, это не отменяет ответа «Нет», неосторожно данного самим Ведерниковым и разошедшегося вместе с напечатанной книгой [8].

Подчеркну, что, на мой взгляд, основной смысл приведенного выше фрагмента из статьи Катаевой-Лыткиной о Ведерникове – дискредитация Локшина на фоне «устоявшего» Ведерникова.

* * *

Шура Локшин (мой будущий отец) и Надя Лыткина (будущий основатель и директор Дома-музея Цветаевой) учились в 12-й образцовой школе города Новосибирска, в одном классе и сидели за одной партой. Директором этой школы, если я не ошибаюсь, был отец Нади. Эта школа была предназначена для особо одаренных детей, а также для детей партийно-чекистского начальства. Мой отец был обязан Наде чрезвычайно многим: наверняка по ее просьбе директор школы отправил Шуру Локшина после 9-го класса в Москву, учиться в Консерваторию

(1936-й год); затем в 1948-ом году она же устроила Локшина в Институт Склифосовского, к хирургу Юдину (возможно, спасла тем самым моему отцу жизнь). Любопытно, хотя, видимо, не имеет отношения к делу, что в одном классе с Шурой Локшиным и Надей Лыткиной учился будущий член Политбюро ЦК КПСС (и, одно время, фактически – второй человек в государстве) Егор Лигачев.

* * *

Добавлю еще, что разрыв отношений между отцом и Лыткиной был не мгновенным, а постепенным. Как мне рассказывала мать, в начале пятидесятых Лыткина в течение чуть ли не года регулярно приходила к отцу и проверяла, как к ней относятся мои бабушка и тетя (сестра отца). Ни моей бабушке, ни моей тете отец не рассказывал об инциденте с Лыткиной вообще ничего.

* * *

На мой взгляд, приведенные выше Цитаты 6 и 7 – прямое подтверждение рассказа моего отца.

Косвенные подтверждения также имеются. Например, свидетельство самой Прохоровой о том, что следствие у нее было «легким»[11] и что, «слава богу, по моему делу [т.е. по делу Прохоровой] никого не арестовали»[12] , а в лагере она была почти сразу же освобождена от физической работы [13]. Аналогично, имеется свидетельство самого Вольпина о том , что в Ленинградской Тюремной Психиатрической Больнице («прославившейся» совершенно невыносимыми условиями содержания узников [14]), у него была «совсем нормальная, приличная жизнь» (см. [15]). Создать такие особые условия для арестантов мог только человек, пользующийся очень значительным и притом неформальным влиянием на Лубянке. Далее, вспомним рассказ Прохоровой (см. [11]) о том, что на очную ставку с ней вызывали только родственников и друзей Локшина [16]. Как известно, это стандартный прием, используемый для компрометации (см. [2]). Итак, напрашивается вывод, что некто, обладавший очень значитель-

ным неформальным влиянием в «органах», был заинтересован в компрометации Локшина. После того, как это установлено, я не вижу оснований не верить моему отцу.

* * *

Для сомневающихся – немного хронологии:
1949 год, июль – арест А.С. Есенина-Вольпина;
1950 год, август – арест В.И. Прохоровой;
1950 год – изгнанный из Консерватории Локшин не может найти работу;
1950 год, октябрь – Н.И. Лыткина назначена секретарем Окружной избирательной комиссии (от организации Красного Креста Центрального института курортологии). И это – несмотря на то, что «**Нас всех “вызывали”**» (См. [3, с. 159]).

* * *

Рисуя в своей статье [3] отрицательный образ Локшина, «попавшего в собственный капкан», Лыткина проявляет недюжинное литературное дарование. Цитирую (см. [3], с. 159):

«После войны скрюченный, больной Локшин перебрался жить к нам, ниспровергая, презирая мир и человечество».

Я убежден, что и на *это* необходимо отвечать. Цитирую Марию Юдину:

«Сведения еще о нем [о Локшине]: ученик Мясковского, кончил в 44 г. и работает ассистентом; еврей; человек чрезвычайно серьезно больной (живет с кусочком желудка всего...) и мужественно и весело свою болезнь несущий, но это ведь и должно вызвать внимание к нему... И, м.б. благодаря этому также человек особенно сверкающего темперамента...» (См. [21]).

* * *

В заключение приведу еще одно поразительное подтверждение слов своего отца:

Цитата 9. «О пребывании в Новосибирске композитора [Г.В. Свиридова] свидетельствуют и его записки, изданные Александром Белоненко (правда, лишь малой толикой – книга хоть и получилась в 800 страниц, однако у Свиридова записи умещаются в 180 тетрадей!), где четко прослеживается достаточно большой фрагмент, посвященный столице Сибири, в котором автор описывает, с кем здесь встречался, о чем вел разговоры. Упоминается в этом кусочке и сочинение “Песни странника”.

“Георгий Васильевич описывает свои ощущения – о своем чувстве Азии здесь, будучи вдали от столицы, – рассказал Александр Белоненко. – У дяди сложился в Новосибирске очень интересный круг общения (в котором были руководитель симфонического оркестра ленинградской филармонии Мравинский, музыковед Соллертинский, также художники, искусствоведы – лучшие мыслящие люди). И что поражает – так это величайшая степень доверия, которая существовала у него со здешними товарищами-единомышленниками. Примером может служить замечательный человек, инженер и композитор-любитель дворянского происхождения Владимир Евгеньевич Неклюдов, которого, как водится, “подцепили” “органы”. Так он, будучи человеком чести и проникшись судьбой дяди, во всем признался ему, после чего между ними и завязалась дружба”».

См. Яна ДОЛЯ, «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». О Свиридове загодя
№ 9 (787), 07.03.2012 г.
<http://www.chslovo.com/index.php?idst=19006>

Эту цитату, конечно же, следует сопоставлять с письмом моего отца И.Л. Кушнеровой от 19 сентября 1949 года (см. выше Цитату 1); неожиданное слово «организован» я, руководствуясь своим пониманием ситуации, всегда понимал как «завербован». Независимое подтверждение обнаружилось совершенно случайно.

О том, что В. Неклюдову при вербовке «органы» угрожали смертью, пишет в своей диссертации М.Э. Емельянова [22, с. 281].

Москва, 6 сент. 2018

- [1] Локшин А.А. Музыкант в Зазеркалье. Изд. 3. – М., 2013.
- [2] Локшин А.А. «Гений зла». Изд. 4. – М., 2005.
- [3] Катаева-Лыткина Н.И. «Анатолий Иванович Ведерников» /Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002. С. 143–166.
- [4] Альбац Е. Мина замедленного действия (политический портрет КГБ). – М., 1992.
- [5] Алексеева Л.М., Голдберг П. Поколение оттепели. – М.: Захаров, 2006.
- [6] Ведерникова О.Ю. «Анатолий Ведерников» / Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002. С. 12–49.
- [7] Бубнова-Рыбникова П.А. «Анатолий Ведерников» / Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002. С. 166–175.
- [8] Шелудяков А.В. Беседа с А.И. Ведерниковым / Анатолий Ведерников: Статьи. Воспоминания. – М.: Композитор, 2002. С. 49–61.
- [9] Бубнова-Рыбникова П.А. Главы из семейного архива. – М., 2003, с. 126.
- [10] В романе Владимира Войновича «Замысел» (1995) на с. 20 имеется, на мой взгляд, прозрачный намек на то, что Дом-музей Цветаевой был создан (1990) не без участия «органов». Цитирую: *«Этот гебешник сказал Антону, что у них разработана полная программа постепенной перестройки в литературе и возвращения запретных имен. Сначала опубликовать тех, которые здесь, потом мертвых, которые умерли здесь, потом мертвых, которые умерли там. С мертвыми вообще возиться подольше и пошумнее. Устраивать разные церемонии. Возложение венков, открытие памятников, перезахоронения, переименования. Пусть будут звезда Пастернака, улица Ахматовой, дом-музей Цветаевой, теплоход “Михаил Булгаков” и типография имени Зощенко»*.
- [11] Прохорова В. Трагедия предательства /Российская музыкальная газета, 2002, № 4, с.7.
- [12] Прохорова В. Четыре друга на фоне столетия. – М.: Астрель, 2012, с. 58–60.
- [13] Пищикова Е. Суровая нить / Русская жизнь, 28 сентября 2007.
- [14] Прокопенко А.С. Безумная психиатрия. – М.: «Совершенно секретно», 1997, с. 58–60.
- [15] Айхенвальд Ю. Последние страницы. – М.: Изд-во РГГУ, 2003, с. 247.
- [16] В том числе сестру отца Марию Лазаревну, которая еле держалась на ногах. Незадолго до этого она перенесла тяжелейшую операцию, в ходе которой ей удалили несколько ребер и одно легкое (!). Ее вызывали на Лубянку дважды: первый раз она отказалась что-либо подписывать , и только после угрозы , что арестуют ее брата, во время второй очной ставки подтвердила «антисоветские высказывания» Прохоровой.

- [17] <http://lgz.ru/article/-47-6622-29-11-2017/moy-otets-vsegda-znal-imya-podlinnogo-stukacha/>
- [18] <http://lgz.ru/article/-1-2-6627-17-01-2018/shcheli-v-dokazatelstvakh/>
- [19] <http://lgz.ru/article/-3-4-6628-24-01-2018/ne-veryu-ni-odnomu-slovu/>
- [20] Млечин Л.М. Один день без Сталина. Москва в октябре 41-го года. – М.: Центрполиграф, 2012, с. 240.
- [21] М.В. Юдина – Е.Ф. Гнесиной, письмо от 13 августа 49 года; опубликовано в сборнике «А.Л. Локшин – композитор и педагог». – М.: Композитор, 2006, с. 76.
- [22] Емельянова М.Э. «Музыкальная культура Ленинграда 1930-х – середины 1950-х гг. в творческой биографии Г.В. Свиридова» (диссертация). – СПб, 2017.
https://disser.spbu.ru/files/phd_spsu/emelyanova_m_e_disser.PDF

**Исполнительный Комитет
Московского Городского Совета депутатов трудящихся**

РЕШЕНИЕ

№ 75/1

24 октября 1950 г.

**Об утверждении Окружных избирательных комиссий по выборам
в Московский Городской Совет депутатов трудящихся.**

На основании статей 54, 55 „Положения о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР“ утвердить Окружные избирательные комиссии по выборам в Московский Городской Совет депутатов трудящихся по Краснопресненскому району города Москвы в следующем составе представителей общественных организаций и общества трудящихся:

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 884

Председатель Окружной избирательной комиссии

ЗОЛЫНKOBA Алевтина Игнатьевна — от коллектива сотрудников Центрального института курортологии.

Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии

САПОЖНИКОВ Василий Иванович — от коммунистической организации Центрального института прогнозов.

Секретарь Окружной избирательной комиссии

ЛЫТКИНА Надежда Ивановна — от организации общества Красного Креста Центрального института курортологии.

Члены Окружной избирательной комиссии

ГУРИП Николай Александрович — от организации профессионального союза медицинских работников Центрального института курортологии.

БАТУРИП Александр Иванович — от коммунистической организации Министерства здравоохранения РСФСР.

КИРСАНОВ Семен Исаакович — от членов секции поэтов Союза советских писателей СССР.

САФОНОВА Тамара Николаевна — от организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи Центрального института курортологии.

***Председатель Исполнительного Комитета
Московского Городского Совета депутатов трудящихся М. ЯСНОВ***

***Секретарь Исполнительного Комитета
Московского Городского Совета депутатов трудящихся П. ЛЕОНОВ***

ПИСЬМО Т.Б. АЛИСОВОЙ-ЛОКШИНОЙ РУДОЛЬФУ БАРШАЮ

Это письмо моей матери Рудольфу Баршаю передала мне Елена Баршай в 2015 году (примерно через год после смерти моей матери). В письме отражена тогдашняя наша ситуация – прошло чуть меньше года после смерти моего отца, слухи уже всюду циркулировали, но еще не выплеснулись в печать. Каким образом можно было перенаправить подозрения Вольпина и Прохоровой – для нас с матерью было совершеннейшей загадкой.

Т.Б. Алисова-Локшина – Р.Б. Баршаю, 27. V. 88

Дорогой Рудик,

Посылаю Вам через Энрико [Джусти] следующие предметы:

1. Автобиографию, которую Шура писал в два приема.
2. Дополнение к ней, которое мы с Колей Пейко написали по документам, оригиналы которых лежат у нас дома.
3. Аннотацию к «Реквиему», которую написал Игорь Карпинский, прочтя аннотацию к Вашему исполнению.
4. Фотографию афиши, подтверждающую исполнение Шуриного сочинения «Жди меня» оркестром под упр. Мравинского и со вступительным словом Соллертинского, который сказал, что это первое исполнение Шуриного сочинения войдет в историю мировой музыки. (К сожалению, на афише эти слова не существуют. Есть только публикация – анонимная – в новосибирской газете, где тоже говорится нечто подобное, но, думаю, она не понадобится).
5. «Мать скорбящую» – партитуру, клавиш и голоса,
5а. – голоса к «3 сценам из Фауста».
6. Кассету с записью:
 - а) исполнения 8-й симфонии под упр. В. Зивы (он – из окружения Рихтера и женат на дочери Берлинского) с оркестром Китаенко и с Алешей Мартыновым (тенор);

б) любительского исполнения «Тараканища», кот[орое] поют вместо хора Игорь Карпинский (бас) и Раиса Левина (бывш[ая] солистка сопрано из хора Минина, который ее уволил, т.к. она посмела <...>), на рояле играет Анатолий Шелудяков, пианист и композитор, друг Игоря. Запись сделана почти без репетиций, так что надо относиться к этим славным и бескорыстным людям со снисхождением;

в) та же Раиса Левина поет, а Игорь аккомпанирует (после многих репетиций) два сочинения: «Искусство поэзии» (или «Гроза» в другой редакции) на стихи Заболоцкого (для камерного оркестра и сопрано) и «Три пьесы на стихи Ф.Сологуба», существующие в двух вариантах – для сопрано и рояля и для сопрано и камерн[ого] оркестра (под названием «2-я симфониетта») – это последнее Шурино сочинение. Из-за того, что там говорится о смерти, Л.Соколенко отказалась его петь еще при жизни Шуры [я думаю, что причина отказа была в другом. – А.Л.]. Сейчас – возможно, 14 июня – Игорь и Р.Левина будут его исполнять в клубе Союза композиторов. Для всех этих сочинений посылаю Вам слова, партитуры же могу переправить после, если они будут Вам нужны. Франческа [Джустини-Фичи] поедет к нам этой осенью или зимой. Кроме того, как я слышала, в Москве часто бывает Ваш Володя. Миша М[еерович] его видел и был поражен его динамизмом. Может быть, Лена могла бы с какой-нибудь певицей исполнить тоже этот неоркестровый вариант.

Что касается В. Катаева, он сразу же после смерти Шуры приехал к нам домой и проявил к нам с Шуриком самые дружеские чувства, хотя мы раньше не были с ним знакомы. Он всячески старается сыграть в разных местах «Тараканище» и «Мать», но пока ничего конкретного не добился. Дело в том, что у него нет своего оркестра и нет надежды его получить.

История, о которой мы с Вами говорили по телефону, может быть задушена и уничтожена только через исполнение сочинений и публикацию тех немногих документов, которые я Вам посылаю. Неужели людям не ясно, что человек, способный на низкий поступок и на обслуживание неких постыдных органов, органически не способен к свободному творчеству? <...> Ну, а что касается тех, кто распустил эту клевету, лучше их предать

забвению и игнорировать. Тем более, что главный инициатор – личность более чем опасная, способная на все. <...> Каким образом упомянутой выше даме удалось направить по ложному следу посаженных с ее помощью людей, остается только гадать. Архивы этого учреждения могут раскрыться только для отдельных, слишком крупных дел, типа дел Тухачевского, Вавилова, Мейерхольда. Но интересно, что ни один из общеизвестных «мелких бесов» не полинял ни перышком и продолжает заниматься своим привычным делом, не боясь разоблачений. Хотя эта дама, видимо, испугавшись перестройки, в последние два года усилила распространение легенды, рисующей Шуру в виде Лох-Несского чудовища, т.к. одна наша близкая общая знакомая, бывшая Шурина ученица, очень преданный ему человек, сказала мне (уже после смерти Шуры), что сия дама, встретив ее на улице, бросилась к ней с этим сенсационным сообщением. (И подумать только, что все это произошло 37 лет назад, а снежный ком клеветы растет!).

После всего этого сия дама устроила на Шуриных похоронах настоящий спектакль. Когда отзвучали официально-покаянные речи Левитина, Карена Хачатуряна, <...> стали все пришедшие подходить к гробу и класть цветы. А я сидела на стуле рядом с Шуриком и ничего не видела от слез. И вдруг вижу – какая-то женщина падает перед гробом на колени, крестится, поднимается, целует Шуру в лоб и в губы. Когда она обернулась, я сразу же ее узнала. Она подошла ко мне и с очаровательной улыбкой спросила: «Танечка, ты меня не узнаешь? Я же NN, мы с Шурой учились вместе в школе... и, знаешь, у меня сохранились его ранние сочинения». Я сказала, что совершенно ее не помню, и что, кажется, она была подругой Шуриной сестры. Этот мой холодный прием ее совершенно не обескуражил, и она поехала вместе с близкими нам людьми на кладбище, т.е. в крематорий. И пыталась втереться к нам домой. <...>

Спасибо Вам за любовь к Шуре,
Обнимаю Лену и Вас
Ваша Таня

P.S. Прочитайте в журн[але] «Огонек» на стр. 20 статью «Творцы и бюрократы».

ДОКУМЕНТ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Недавно обнаружил в интернете интереснейший документ <https://bagaev-alex.livejournal.com/8944.html> имеющий отношение к истории моего отца; процитирую наиболее любопытный фрагмент.

А. Багаев: «Воспоминания о коммунистах. Мой беспартийный папа», 5 апреля 2012.

«...И вот только когда папа трагически погиб, мне кое-что рассказала его сводная сестра – для нас с сестрой «тётя Дина», а вообще-то Надежда Ивановна Катаева-Лыткина, племянница бабушкиного первого мужа, эсера, убитого на Байкале; крепко дружила всю жизнь с Анастасией Цветаевой, они вместе дом-музей в Борисоглебском создавали, поскольку прямо в нём и жили; у А. Сахарова [наверно, все-таки не у Андрея Сахарова, а у акад. Д.С. Лихачева? – А.Л.] была долгое время помощницей – ей потом в благодарность даже трёхкомнатную квартиру дали в арбатских переулках: заслужила! Так вот тётя Дина рассказала, что папа в 1940 приехал из Харькова в Москву, поселился у неё в семье на какое-то время и поступил на мехмат в МГУ. Был, как и все, беспечный комсомолец, увлекался тем же, чем и все они тогда, и даже на вечеринках умудрялся танцевать на своём протезе. А потом случился октябрь 1941. 15 октября начали эвакуировать МГУ. 20–21 октября эвакуировали даже аппарат ЦК и правительства. Москву – оставили. Москва несколько дней пробыла открытым городом. Без властей. Без милиции. И вот как рассказала тётя Дина, увидев всё, что творилось в те дни в городе, они – кучка друзей – собрались все у неё дома и сожгли свои комсомольские билеты. Тогда-то мой папа, по идее, сознательно поставил крест на любой своей карьере в будущем».

ЭПИЛОГ

Я собрал в этой книжке наиболее важные материалы, касающиеся истории моего отца и накопившиеся за последние тридцать лет. С грустью должен отметить, что своей статьей о Нагибине (неутомимом «разоблачителе» Локшина) мне пришлось пожертвовать ради сохранения единства стиля. Статья эта называется «Об одной литературной мистификации» и имеется в открытом доступе в Интернете. Речь там идет о довольно забавной неудаче, постигшей Нагибина в процессе доказательства, что его литературный персонаж (и, возможно, альтер эго автора) Калинин – не еврей.

Еще я ничего не пишу здесь о ставших мне известными обстоятельствах смерти Вольпина. Эта печальная история (см. мою брошюру «Нежелательное свидетельство») слишком далеко увела бы читателя от основного сюжета. И я решил не помещать ее сюда.

Что я считаю центральным моментом этой своей книжки? Безусловно, свой ответ Вере Прохоровой. То, что подслушки в ее квартире не могло не быть, превращает статью Прохоровой «Трагедия предательства» из обвинительного документа в уникальный оправдательный документ, применимый не только к случаю Прохоровой.

Я считаю исключительной удачей то, что мне удалось независимо (не опираясь на историю с Прохоровой) ответить на обвинения в адрес отца, исходившие от Вольпина и Максимовой-Лимчер. Мне помогли, в первую очередь, статья М. Цаленко «Взгляд назад невидящих глаз» и одно из писем И.Л. Кушнеровой. Но если бы ни этих замечательных документов не было, ни ряда других документов, на которые я опирался, все равно я мог бы утверждать:

– В моем ответе Прохоровой доказано, что за Локишиным шла охота «органов» с целью его компрометации. Поэтому любые обвинения в адрес моего отца получены либо от обманутых людей, либо под дулом пистолета.

В заключение хочу сказать еще два слова о том, что меня больше всего поразило в ходе расследования. Это – возможность, устанавливая факты, не просто опираться на формальное содержание документа, но оттолкнуться от его интонации. Два наиболее ярких примера – разоблачение фальсификации мемуаров Григоренко («История одной публикации») и обнаружение погубителя музыкальной карьеры Ведерникова («Скрытая пружина»).

Вот, на этом, пожалуй, поставлю точку.

ЛОКШИН Александр Александрович

«МУЗЫКА,
ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СТАЛИНА»

18+

Подготовка оригинал-макета:

Издательство «МАКС Пресс»

Главный редактор: *Е.М. Бугачева*

Компьютерная верстка: *Н.С. Давыдова*

Обложка: *А.В. Кононова*

Подписано в печать 15.09.2020 г.

Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л.12,25. Тираж 25 экз. Заказ 196.

Издательство ООО «МАКС Пресс»

Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы,

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 527 к.

Тел.8(495) 939-3890/91. Тел./Факс 8(495) 939-3891.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ООО «Фотоэксперт»

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13

